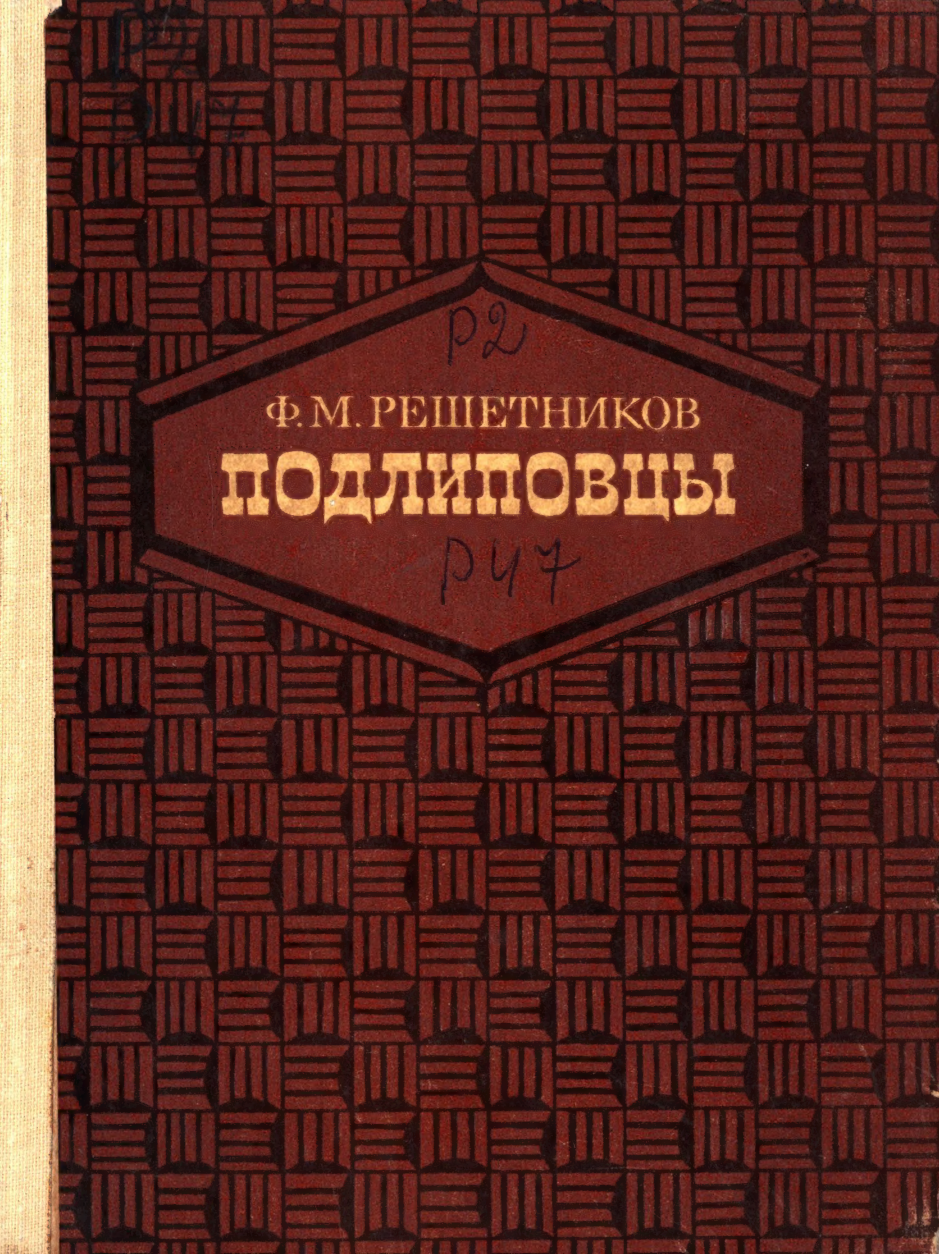
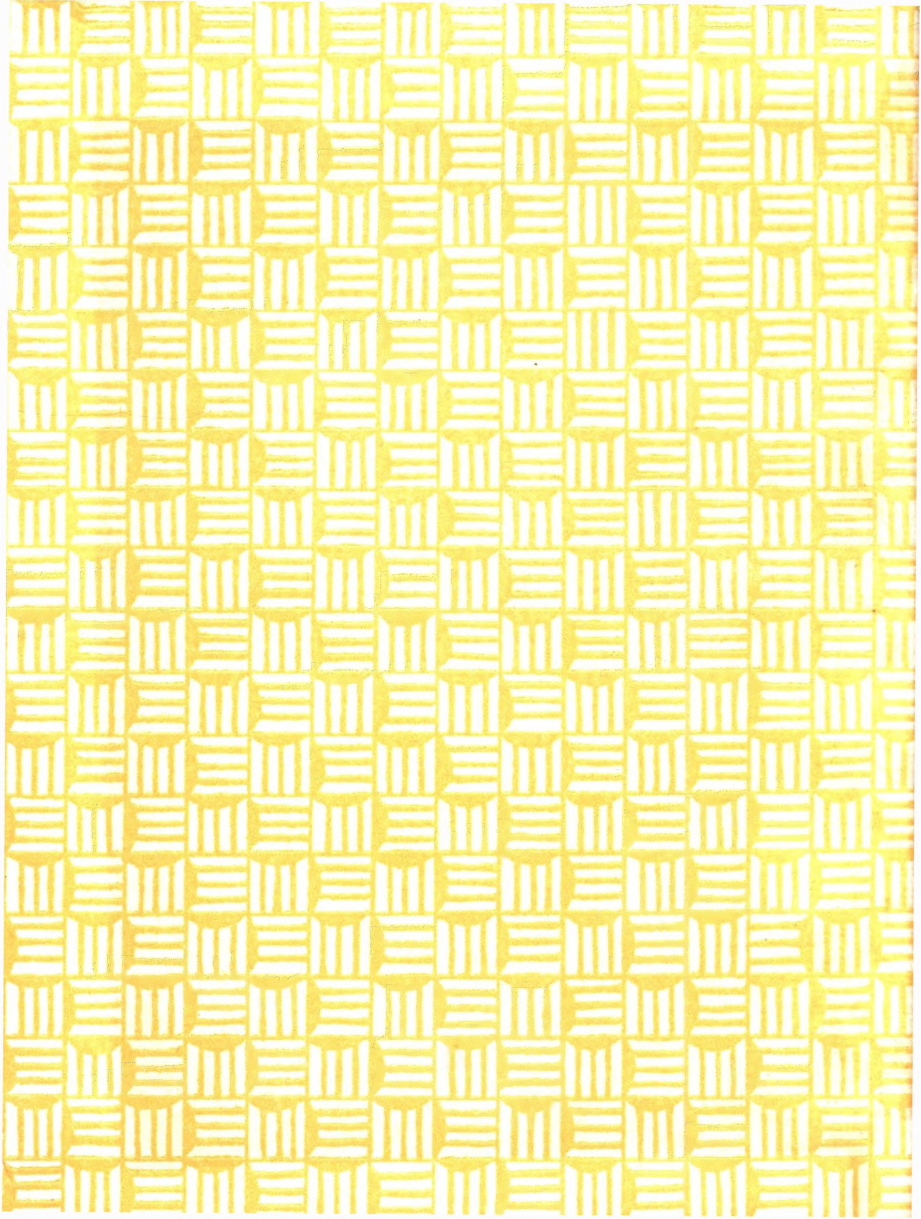


Ф. М. РЕШЕТНИКОВ
ПОДЛИПОВЦЫ



Российские повести и рассказы



Ф. М. РЕШЕТНИКОВ

ПОДЛИПОВЦЫ

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
(ИЗ ЖИЗНИ БУРЛАКОВ)
В ДВУХ ЧАСТЯХ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
МОСКВА — 1977

Печатается по изданию:
Ф. Решетников. Подлиповцы. М., Гослитиздат, массовая серия, 1954.

Художник **И. М. Гирель**

Р $\frac{70301-136}{М105(03)-77}$ 94—77

Ф. М. РЕШЕТНИКОВ
(1841—1871)

В истории русской литературы творчество Федора Михайловича Решетникова занимает важное место. В нем нашла яркое выражение одна из примечательных страниц национально-освободительного движения в России. Писатель-демократ, убежденный в необходимости всестороннего раскрепощения и просвещения народа, Решетников внес заметный вклад в развитие культуры трудовых низов.

Решетников вступил на литературное поприще в трудное и славное для передовой мыслящей России время.

После позорного поражения царизма в Крымской войне (1853—1856) начался новый этап освободительного движения в стране. Оно нарастало, ширилось, набирало силу и привлекало все новых и новых сторонников. В 1861—1862 годах Россия оказалась на грани революционного взрыва.

Под напором низов правящие верхи вынуждены были отменить крепостное право. Однако отмена крепостнических отношений производилась в таком урезанном виде, с такими новыми утеснениями крестьянства, что оно, возмущенное ограблением (под прикрытием размежевания земли, отходившей помещикам), стихийно бунтовало и требовало н а с т о я щ е й воли.

До Решетникова в его уральском захолустье доходили грозовые раскаты. Он рано решил стать литератором и много читал, пополняя недостатки своего образования. Что же он узнавал, читая попадавшие ему в руки столичные журналы и газеты?

Волновались, требуя независимости, Польша и Финляндия; это брожение год спустя прорвалось — восстали поляки. Волновались студенты в Петербурге; пресекая беспорядки, власти на время закрыли университет. В мае 1862 года возникли грандиозные пожары в Петербурге, а впоследствии и в других городах. «Нигилисты поджигают!» — клеветали реакционеры. Из-за границы продолжали поступать нелегальные издания Герцена; его «Колокол» попадал в императорский дворец и в самые отдаленные уголки империи. В прокламации «Молодой России» призывали открыть кровавую борьбу против современного строя — всеми доступными средствами.

Даже правящее сословие заколебалось: наиболее осторожная и рассудительная часть дворянства, напуганная возможностью новой пугачевщины, новой крестьянской революции, потребовала от самодержавия более существенных уступок народу и более широких политических реформ.

Это были грозные и обнадеживающие признаки. У реакционеров они вызывали трусливую дрожь и яростное желание утопить в крови «возмутителей» спокойствия. В демократов они вселяли надежды на скорый крах полицейско-бюрократического режима и готовность к самоотверженной борьбе за освобождение народа.

«При таких условиях, — писал спустя полвека В. И. Ленин, анализируя революционную ситуацию 1861 года, — самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью серьезной».

Не было в России писателя, который в то время остался бы в стороне от вопросов, выдвинутых в процессе общественного движения.

Не был и не мог быть сторонним наблюдателем и Решетников. Творчество его запечатлело страстное ожидание социальных перемен. Его недолгий путь в литературе целиком обусловлен обстоятельствами освободительного движения в России шестидесятых годов XIX века. Центр революционных выступлений начал перемещаться из Западной Европы в Россию, и потому-то многие социальные явления именно в русской литературе получили наиболее отчетливое выражение и приобрели общечеловеческое значение.

Решетников не вошел в число гениальных художников. Он остался писателем второго плана. Однако в творчестве его запечатлелись некоторые из важнейших проблем той поры, к которым сохранился интерес последующих поколений. Не утратили они своего значения и до сих пор. Современный читатель видит в его произведениях не только далекое, невозвратимое прошлое: для стран, которые только теперь проходят тот этап развития, который давно пройден нашим народом, эти проблемы подчас оказываются животрепещущими. Произведения Решетникова не оставляют равнодушным и читателя современного социалистического общества: они продолжают взывать к совести человеческой, вызывают возмущение против несправедливости, будят нравственное чувство, требуют активных действий для претворения в жизнь сочувствия и жалости к тем, кто нуждается в помощи.

Решетников горячо сочувствовал народу. Не понаслышке, не из книг знал он о его бедственном положении. Он испытал на себе, что значит быть в крепостнической России человеком из низов, бесправным и ничем не защищенным (ни сословными привилегиями, ни богатством) от прихотей и насилия всевластных верхов. Литература была для него ареной боев за облегчение участи народа. Своими произведениями он стремился привлечь внимание к жгучим вопросам, не терпящим отлагательства, и вызвать у своего читателя убеждение: народ надобно только раскрепостить, дать ему основные свободы (политические, экономи-

ческие, духовные) — и он сам устроит свою жизнь, у него хватит сил, стойкости, смекалки, природного ума, чтобы создать справедливое общество.

С полным правом Решетникова можно назвать писателем-бойцом из плеяды демократических русских литераторов, считавших Белинского, Чернышевского и Добролюбова своими учителями и духовными вождями.

Федор Михайлович Решетников родился 5 сентября 1841 года в Екатеринбурге в семье разъездного почтальона, занимавшего одну из самых низших ступеней в российской иерархии чинов.

Он рано остался без родителей и воспитывался в доме своего бездетного дяди Вас. Вас. Решетникова. Тот, по-видимому, желал добра племяннику, но на свой лад: из резвого, любознательного мальчика выколачивали бойкость и вколачивали в него послушание. Били его постоянно, били до крови, до обмороков. Крепостничество держалось на грубом принуждении; вся система отношений между людьми в подобном обществе отличалась крайней, почти варварской жестокостью — и это особенно резко сказывалось в палочной педагогике той поры.

В 1851 году, желая мальчику добра, отдали его в уездное училище. «И к битью воспитателей и соседей прибавилось битье школьное», — писал впоследствии А. М. Скабичевский, один из современников Решетникова.

Напрасны были попытки Решетникова убежать от своих мучителей. Поймав, его так «вразумили», что он, по собственному признанию, «пролежал два месяца в лазарете».

Разумеется, ученье — свет, а неученье — тьма; это Решетников понимал. Но бурсацкое ученье, основанное на бессмысленной зубрежке, далекое от живой жизни, не могло пробудить интереса и оказывалось, в сущности, одной из форм духовного насилия, подкрепляемого палками, розгами, зуботычинами, затрещинами и прочими наказаниями, на которые так изобретателен был жестокий век.

Пытаясь «отделаться от учителей» (как вспоминал позднее

Решетников), он «таскал для них тайком с почты газеты» — до того, как они попадали к подписчикам. Добром это не могло кончиться: последовал суд и новое наказание — ссылка в Соликамский монастырь на трехмесячное покаяние.

Наконец, в 1859 году Решетников кончил училище и определился служить в уездный суд — за три рубля в месяц. Как можно было жить на это нищенское жалованье? Однако же он как-то сводил концы с концами. И при этом ухитрялся покупать книги, много читал, пробовал свои силы в литературном труде.

Его горе-воспитателям удалось выбить из него живость и бойкость. Вечная нужда усугубила его замкнутость. Решетникова смолоду стала отличать суровая, пасмурная нелюдимость. Он трудно сходился с людьми, избегал завязывать короткие знакомства, особенно домами: «потому что сам ходишь — к себе води»,— писал он в дневнике. А куда водить, где принять, на что угостить? Некуда, не в те же конуры, которые попадали ему под видом «углов» или наемных комнат.

Однако природную наблюдательность Решетников сохранил. С годами она обострилась. Как писателя, его рано стало отличать то особенное качество, которое можно назвать социальной зоркостью. Он с особенным вниманием приглядывался к жизни окружавших людей — таких же бедняков и горемык, как и он сам. Он жил их интересами, испытывал их чувства, понимал их беды, прекрасно сознавал причины и меру их страданий.

Он не мог бы стать художником, который, как эхо, лишь откликается на происходящее или, как зеркало, лишь отражает окружающую жизнь. Решетникова властно привлекла основная идея, выдвинутая революционными демократами: мир устроен дурно — его следует перестроить; только тогда человек сможет быть счастлив. Литература должна стать учебником жизни, провозгласил Чернышевский, и научить людей, как взяться за дело переустройства русской действительности. Решетников мог быть только с о ц и а л ь н ы м писателем, который исследует прежде всего социальные процессы, протекающие в общественной жизни.

В 1863 году Решетников перебрался в Петербург, начал печататься в демократических изданиях, сблизился с редакцией журнала «Современник» и вскоре приобрел известность. Литература стала основным его занятием, на литературные заработки он жил. Бывает, что подобная профессионализация приводит молодых литераторов к творческому оскудению. Однако у Решетникова и в Петербурге сохранились тесные связи с простым народом. И там он продолжал жить его жизнью. Он и внешне выглядел человеком из городских низов. В. И. Ленин в статье «Случайные заметки» привел характерное для Решетникова происшествие: «Лет тридцать пять тому назад с одним известным русским писателем, Ф. М. Решетниковым, случилась неприятная история. Отправился он в С.-Петербурге в дворянское собрание, ошибочно воображая, что там дают концерт. Городовые не пустили его и прикрикнули: «Куда ты лезешь? кто ты такой?» — «Мастеровой!» — грубо отвечал рассердившийся Ф. М. Решетников. Результатом такого ответа — рассказывает Гл. Успенский — было то, что Решетников ночевал в части, откуда вышел избитый, без денег и кольца. «Довожу об этом до сведения вашего превосходительства, — писал Решетников в прошении с.-петербургскому обер-полицмейстеру. — Я ничего не ищу. Я только об одном осмеливаюсь утруждать вас, чтобы пристава, квартальные, их подчаски и городовые *не били народ...* Этому народу и так придется много получить всякой всячины»[1].

Дневник Решетникова сохранил многие подробности его скорбного жизненного пути. Сейчас тягостно читать, как мучительно шел к признанию этот русский талант-самородок. Нужда, каждодневная, неизбывная, граничащая с откровенной нищетой. Литературная поденщина, каторжный труд ради грошовых заработков. Оскорблявшее Решетникова барство иных редакторов и чванство более образованных собратьев-литераторов. Стремление издателей «прижать» наемного писателя и урвать свою долю из

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 4, стр. 415.

его и без того более чем скромных заработков. Подобными заметками переполнен этот обвинительный документ, в котором оказались вскрыты многие типичные явления литературного процесса той поры; к сожалению, документ этот был прочитан много времени спустя после смерти Решетникова.

Решетникову органически чуждо было делячество в таком святом деле, каким он считал литературу. Но в эпоху наступления капитализма литература так же, как и другие стороны общественной деятельности, стала поддаваться воздействию денежного чистогана. Издание журналов превращалось в доходное дело, основанное на эксплуатации писателей. И только таким путем, как с горечью осознал это Решетников в 1865 году, можно было бы выкарабкаться из нищеты. Но для него этот путь по моральным соображениям был закрыт. И потому чувство безнадежности исподволь овладевало Решетниковым. Мучительная мысль терзала его: молодые годы, отравленные нищетой, прошли, силы уходят, сам он и его близкие остаются необеспеченными, а впереди нет никакой надежды на хотя бы мало-мальски сносное существование — с творчеством не по заказу, а по призванию, и с уважительным отношением окружающих.

Писатели-демократы той поры в большинстве своем были обречены на короткую трудную жизнь. Напряженный труд, нужда, сознание своего бесправия, вечная угроза преследований со стороны властей, болезни — все это подтачивало их силы.

Решетников испытал это на себе в полной мере. Он не входил ни в одну из нелегальных организаций, но был близок по духу руководителям органа революционной демократии журнала «Современник». Когда в 1866 году (после покушения Каракозова на Александра II) реакция обрушила удар против революционных демократов, Решетников ожидал, что и с ним расправятся. Ведь он печатался в «Современнике» — по тем тяжким временам причина достаточная. «Уж хоть бы скорее обыскали»,— записывал он 13 апреля 1866 года, измученный ожиданием ночного визита жандармов и тех следствий, которые он по-

влечет: переполох в семье, плач детей, расстройство больной жены.

9 марта 1871 года оборвалась короткая жизнь Решетникова. Он умер, как свидетельствует А. М. Скабичевский, «от отека легких, оставив после себя жену и двоих детей».

Следует уточнить: Решетников оставил еще два тома сочинений. Потомкам осталось богатое художественное наследие. Оно многообразно и состоит из таких незаурядных повестей и романов, как «Подлиповцы», «Глумовы», «Горнорабочие», «Между людьми», «Где лучше?», «Свой хлеб». Решетниковым также написаны десятки рассказов, очерков и путевых заметок.

Наиболее значительны среди них произведения, где Решетниковым поднята тема огромной важности — тема рабочего класса. Впервые в русской литературе так подробно, глубоко и всесторонне была освещена жизнь горнозаводских рабочих Урала.

Совместными усилиями многих писателей той поры (в поэмах Некрасова, произведениях Л. Толстого, Достоевского, Гл. Успенского, Салтыкова-Щедрина, Ник. Успенского, Помяловского, Слепцова, Левитова и многих других) складывался своего рода коллективный образ народа.

Своими произведениями Решетников внес немалый вклад в эту общую работу передовой русской литературы. Его знание жизни народных низов, громадный материал наблюдений и своеобразное преломление их при создании героев — разорившихся крестьян, бурлаков, до предела угнетенных рабочих — многое прибавили для более глубокого понимания исторических судеб русского народа.

С повести «Подлиповцы» (1864) началось признание самобытного таланта Решетникова. Молодой, в сущности, начинающий писатель смело и необычно раскрыл в своем первом крупном произведении тему народа, одну из острейших в русской литературе той поры.

Тема эта вошла в литературу еще в конце XVIII века. После восстания Пугачева больше невозможно было не считаться с кре-

стьянством. Наиболее дальновидные представители русского дворянства признавали необходимым облегчить участь народа. Меры предлагались различные.

Одни писатели видели в жестокостях крепостников некое исключение, отклонение от установленной законом нормы взаимоотношений и разного рода случайности, которые будто бы зависели только от воли или настроения отдельных личностей. А если так, полагали они, то существующий строй следует сохранить, наведя лишь некоторый порядок. Надо просветить помещика, воспитать его в духе гуманных представлений — и тогда он станет добронравным, тогда он будет вполне гуманно обращаться со своей одушевленной собственностью.

Иллюзии подобного рода были широко распространены. От них не был свободен даже Фонвизин, который в комедии «Недоросль» с гневом заклеймил произвол невежественных помещиков, упивавшихся своей властью над бесправными холопами. Однако стоило попасть в поместье госпожи Простаковой правдолюбцу Правдину — и справедливость тут же восторжествовала: закон будто бы позволял защитить крестьянина от помещика.

После Отечественной войны 1812 года эти иллюзии окончательно рассеялись; лишь второстепенные, творчески несамостоятельные писатели вроде Слепушкина («Досуги сельского жителя», 1828) или Бурнашева («Воскресные посиделки», 1844) могли писать о благоденствии крестьян под властью добрых, рачительных помещиков.

В произведениях ряда писателей XVIII века наметился иной подход к этой теме. Они (и в первую очередь Радищев и Новиков) справедливо замечали, что так называемых отклонений, исключений и разного рода случайностей встречается слишком много, повторяются они регулярно, наблюдаются повсюду. Самая их массовость не выражает ли сущности господствующей системы отношений?

Так постепенно складывалось представление о том, что грубое притеснение народа, переходящее в жестокое обращение с каж-

дым отдельным крепостным, — это и есть з а к о н крепостнического общества. А счастливая развязка вечного конфликта барина с мужиком, напротив, является случайным отклонением от него.

Лет за двадцать до опубликования «Подлиповцев» это мнение стало едва ли не общепринятым. Оно наполнилось взрывчатым антикрепостническим смыслом. Правительство спешило принять меры для искоренения его. Лучше всего было бы, как полагало Третье отделение, вообще не касаться этого вопроса. Так, ректору Петербургского университета 24 октября 1849 года было предложено «в видах охранения внутреннего в России спокойствия» не дозволять профессорам в лекциях говорить о положении крестьян под властью крепостников.

В конце сороковых годов И. С. Тургенев в «Записках охотника» и Д. В. Григорович в повестях «Деревня» и «Антон Горемыка» вновь привлекли внимание читателей к теме народа. Они оба выступили с антикрепостнических позиций, но предложили очень несходное понимание этой темы.

Григорович показал с особенной остротой, как падает духовный уровень народа под воздействием жестоких, поистине бесчеловечных условий существования крепостного крестьянина. Доведенные до крайней степени нищеты и забитости, крепостные и сами усваивают грубость, равнодушие и другие отрицательные качества, буквально вколачиваемые в них.

Образы, созданные Григоровичем, несут в себе предостережение: крепостничество опасно не только для духовного развития народа, но и для самого существования его, ибо грозит физическим вырождением и даже вымиранием целых групп деревенского населения.

Тургенев выразил иной подход к этой наболевшей проблеме. Он создал в «Записках охотника» ряд ярких образов крепостных крестьян (Хорь, Калиныч, Касьян и др.), ни в чем не уступающих своим господам. Напротив, крестьяне превосходят помещиков практически во всех отношениях: в умении хозяйствовать, в тонкости и поэтичности восприятия природы, в глубине и верности

понимания нравственных проблем, в деликатности обращения друг с другом.

Тургенев исходил из убеждения, что века крепостнического рабства не иссушили души народной. По его представлению, именно в крестьянстве, в народных низах сохранились самобытные, яркие, ценные черты национального русского характера. Народ правдолюбцев и правдоискателей, мечтателей и поэтов, незаурядных администраторов и, может быть, великих реформаторов — таким предстал русский народ в изображении Тургенева.

Можно ли, допустимо ли и далее держать такой народ в крепостной кабале, в зависимости от тупых помещиков, под угрозой жестокой и нередко унизительной расправы? Разумеется, нет; антикрепостническая направленность «Записок охотника» была столь отчетлива, что после опубликования их отдельной книгой в 1852 году Тургенев попал под арест и подвергся высылке в Спасское-Лутовиново.

Революционные демократы высоко оценивали вклад Григоровича и Тургенева в раскрытие темы народа, однако не считали абсолютно достоверной созданную ими картину крестьянской жизни.

В изображении Григоровича народ оказался настолько забит, что он уже не был способен к борьбе за собственное освобождение.

Тургенев же, как отмечала критика, поставил своих героев особняком и отчасти идеализировал их. «Сучок, Ермолай, Бирюк, Касьян и другие типы, созданные рукою Тургенева, нимало не знакомят нас с крестьянскою средою», — писал Салтыков-Щедрин в 1868 году, когда особенно наглядным предстало новаторство Решетникова и других писателей-демократов шестидесятых годов в сравнении с достижениями литературы предшествовавшей поры.

«Нужна была целая крестьянская среда», — подчеркивал Салтыков-Щедрин. Нужна была картина народной жизни, в которой получили бы выражение не только отдельные черты национального характера в образах героев-крестьян, но и правдивое, без прикрас воссоздание домашнего быта, взаимоотношений в крестьянской

семье и в повседневных занятиях, в трудовом процессе. Нужно было точное знание деревенской жизни, чтобы прийти к правильному выводу: в какой мере народ готов к вступлению в борьбу против самодержавия. Нужна была п р а в д а, какой бы горькой она ни оказалась.

Великая заслуга Решетникова и заключается в том, что он уловил это требование эпохи и в повести «Подлиповцы» дал свой ответ на те вопросы, которые еще не могли получить всестороннего раскрытия у его предшественников.

С потрясающей силой Решетников представил нищету, забитость и невежество своих героев из убогой, в шесть избенок, деревеньки Подлипной, затерявшейся в предуральской глухомани. Убогие жилища, истощенные поля, бескормица, от которой лошади шатаются, постоянное недоедание, переходящее в голод, — такой рисует Решетников жизнь деревни. Подлиповцы словно придавлены: «Не слышится веселого говора, не слышится песен, у всех точно какое-то горе, какое-то болезненное состояние», — замечает Решетников. Даже дети не резвятся. Своего хлеба у подлиповцев почти нет, едят они кору осиновую и липовую, подмешав немного муки; а когда мука выйдет, то приходится совсем худо. Решетников передает голос замученных подлиповцев: «Поплачешь, погорюешь, да и скосишь травку божью, измелешь и ешь так с горячей водой».

Решетников в подлинном смысле и с с л е д у е т жизнь подлиповцев, рассматривая все ее стороны. Может быть, деревня Подлипная — какая-то особенно незадачливая в Российской империи? Нет, оказывается, таких много здесь, только подлиповцы беднее своих соседей. Нечем промыслить, негде заработать, и подлиповцы «держатся словно чудом». Почему так сложились их дела? Земля не родит, отвечает Решетников; охотой не прожить, потому что «на порох надо деньги, а медведя хоть и можно убить ломом чугунным или чем иным, так медведей ныне мало».

Подлиповцы не могут заработать, как бы ни бились, ни изворачивались, более трех рублей за лето или зиму. Исхода из беспро-

светной нужды нет и не предвидится. «От этого у них явилась апатия, — поясняет Решетников странное безразличие и опустошенность подлиповцев. — Все они потеряли надежду на сбыт чего-нибудь, и редкого вытащишь из его избы».

Подлипная вырождается и близка к вымиранию. Решетников не боится сделать такой вывод из своих наблюдений, потому что вина лежит не на крестьянах, а на властях, допустивших потрясающее обнищание русской деревни и усугубивших его своими поборами.

Безысходная нужда лишила крестьян их жизненной стойкости. Постоянное недоедание подкашивает их силы. «Пища мучит всех, — возвращается вновь и вновь Решетников к главному вопросу. — Настоящий хлеб едят редкие с месяц в год, остальное время все едят мякину с корой, и от этого у них является лень к работе, болезнь, и часто все подлиповцы лежат больные, сами не зная, что с ними делается, а только ругаются и плачут... Они знают, что помочь им некому».

Редко-редко в Подлипную наведается становой пристав: соберет подати да «обласкает» недоимщиков — да так, что подлиповцы годами помнят, как были перепороты не только мужчины, но и женщины.

Когда-то их окрестили, и под угрозой наказания они продолжают крестить детей и возят к соседнему священнику отпевать умерших. Были у них в избах иконы, но их держали обычно под лавкой и вынимали к приезду священника.

«Неужели они не умеют работать?» — задается Решетников вопросом, предвидя недоумение читателя. Но разве кто-нибудь научил подлиповцев хоть чему-нибудь, что могло бы упрочить положение? «Подлиповец, родившийся в Подлипной, проживший в своей деревне детство и имея взрослых детей, умеет делать то, чему научили его отец и родня», — отвечает Решетников. Он нисколько не сомневается, что они — люди не без способностей и, может быть, даже одаренные от природы, но никто не потрудился образовать их и раскрыть их дарования. «Растолкуй этим

людям как следует, по-человечески, что нужно делать, они примутся и сделают еще крепче городского мастера, — полагает Решетников. — В этом я ручаюсь».

Но никому из начальства нет никакого дела до Подлипной. О сотнях и тысячах подобных деревенек вспоминают лишь тогда, когда приходит время собирать подать и сгонять рекрутов в армию. Большой мир начинается где-то за околицей Подлипной; в уездном городке Чердыни свет кончается — и начинается неизвестная, пугающая подлиповцев даль, где навсегда пропадали те, кто ушел из деревни. И потому подлиповцы замкнулись в своем мирке. «Живут по-своему, как живется: ведь растет же дерево, живут же лошади и коровы»,— поясняет Решетников.

Так начинается первая часть повести.

Представив вначале, как живут в с е подлиповцы, Решетников далее в своем повествовании выдвинул на первый план двоих героев — молодого, болезненного, вконец обедневшего крестьянина Сысоева по прозвищу Сысойко и его старшего, несколько более подвижного и смекалистого соседа Гаврилу Пилина по прозвищу Пила. Фамилии у крестьян только появлялись, при переписях заносили обычно прозвища или прозвания — от имени отца или по внешним приметам. Приходится и подлиповцам довольствоваться кличками, известными им одним и их соседям.

У Сосойки померли брат и сестра, умирает мать, сам он едва жив. Даже привычному Пиле не по себе стало в Сысойкиной избенке, промерзшей, темной и до крайности мрачной. У Пилы у самого несчастье за несчастьем. Никому нет дела до Пилы и его забот. Пришлось ему брести в город и просить подаяние.

Две недели собирал он и копил ломти хлеба и уже хотел возвращаться в Подлипную, как встретились ему крестьяне, собиравшиеся идти в бурлаки. Пила стал раздумывать: «Идти в бурлаки или нет? Бурлачество, бают, — хлеба много... А в деревне што! тот болен, другой помирает, третьего везти хоронить надо,

да еще поп привяжется. Эх! Надоела эта жизнь!.. Дай пойду в бурлаки»...

Так тронулись с места подлиповцы. Двинулись в неведомую даль Сысойко и Пила с сыновьями Иваном и Павлом и женой Матреной. Бросили свои избы-конуры, оставили опостылевшую Подлипную и пошли туда, куда поманил их призрачный свет надежды. Много нового пришлось им узнать на этом пути. Побывали они для начала в остроге, потом на солеварнях, добрались до одного из уральских заводов, сплавлявших барки с металлом по Чусовой и Каме.

В городе у Пилы украли последнюю собственность — лошадь. Остались подлиповцы совершенно неимущими; только рабочие руки, готовность к самому тяжкому труду да надежда на лучшую долю и природная смекалка — вот, пожалуй, и все, что теперь было в их собственном распоряжении. Разорение подлиповцев, как и множества других крестьян, с которыми они встречались на своем пути, выражало общее оскудение русской деревни, обманутой и обобранной в результате реформы 1861 года.

Как ни худо пришлось подлиповцам в городе, но дома, в деревне, было несравненно хуже. Пила и Сысойко это уразумели быстро. Задержанные до выяснения личности (паспортов они ни разу в жизни не держали в руках), жили они при полиции, выполняли все, что ни поручалось им; «случалось, проводили по целому дню в кухне городничего» — разумеется, не для отдыха, а выполняя дела в качестве даровой рабочей силы. Однако, как подчеркивает Решетников, «дни эти были блаженные для них». Почему? Потому что впервые, кажется, в своей жизни они были сыты: «Их кормили щами, жарким и даже кашей». При этом никаких забот о семье: Матрена с детьми тоже устроилась «у одной нищей за пятнадцать копеек в месяц и собирали Христа ради».

Месяц городской жизни изменил подлиповцев неузнаваемо. Новые сведения и понятия каждый день входили в их сознание. Развитие было столь стремительным, что, как подчеркнул Решет-

ников, «в продолжение месяца подлиповцы узнали больше, чем живши до этого времени». Узнали они не только о паспортах и что такое чижовка, острог, полиция, следствие; узнали также, «что есть места лучше и хуже Подлипной», что мир делится на богатеев и бедноту и что для бедного человека тоже есть выход — где-то далеко вниз по Каме и Волге имеются места, где можно жить хорошо, можно «поправить» себя и насобирать деньжонок на собственное хозяйство... Вечная тоска крестьянина по благодатным землям погнала Сысойко и Пилу далее и далее: им «опротивела не только деревня, село, но даже и город, и они задумали, как выпустят их, тотчас же идти бурлачить».

Толпа будущих бурлаков двинулась к призрачной цели. Пошли по запутанным дорогам вятичи, пермяки, вологодцы и крестьяне из других северных губерний. Среди них брели Пила с Сысойком, оборванные донельзя, Иван с Павлом и Матрена в рваном полушубке, в дырявых лаптях, с плохоньким платком на голове, опоясанная веревкой — «и за пазухой ее сидел трехгодовалый Тюнька».

Решетников повествует о бедствиях своих героев с внешней бесстрастностью; в его повествовании лишь изредка проступает личная интонация — отзвук затаенных слез сочувствия или негодования. Тогда он позволяет себе отойти от холодного, протокольного тона изложения. Пишет он, например, о тепло одетых господах в хороших повозках, встречавшихся на пути подлиповцам и с презрением оглядывавших этих гонимых голодом бедняков — как будто по этапу гнали их; тогда-то Решетников и высказывает откровенно свои оценки и свое отношение к тем и другим: «Эти господа едва ли трудились думать о бедняках. Они не знали, сколько потерпели горя Пила и Сысойко, не знали, что вся их жизнь была одни лишения, несчастия, горькие слезы; что им надоела своя родина, и вот они бегут от нужды, идут в мороз куда-то в хорошее место, где будет им лучше, где будет много хлеба, где они будут свободны».

Нет таких мест в России прошлого века, несбыточны их мечты,

Решетников это хорошо понимает — и оттого ему еще горше, холодная бесстрастность его повествования приобретает зловещий оттенок и больно задевает читателя. А. М. Скабичевский, воссоздавая мнение современников, отмечал: «Вышло нечто в русской литературе небывалое: не повесть, не рассказ, к каким публика привыкла, а в полном смысле протокол, хотя и слышались в каждой строке затаенные слезы. Ужасом преисполнились сердца всех народолюбцев при виде поразительных картин нищеты подлиповцев... Никто не воображал, что в недрах богоспасаемой России могли существовать дикари, подобно неграм Северо-Американских штатов обращенные в вьючный скот».

Это был обвинительный протокол против существующего строя. В своем стремлении сохранить выгодный ему порядок крепостническое дворянство любым путем пыталось затормозить развитие России. Решетников сознает и показывает, как эгоизм правящего сословия бедствиями отзывается в народной жизни. Весь народ обездолен; вместе с ограбленным крестьянством невыносимому гнету подвергаются рабочие; на уральских заводах они низведены до полурабского состояния. Им «нечего есть, убиваются их жены, голодают их дети», — сообщает Решетников и подчеркивает, что именно поэтому рабочий «за какую бы то ни было плату готов работать», хотя ненависть его против приказчиков и владельцев завода может разразиться стихийным взрывом ежеминутно.

Одинаково с подлиповцами нищие, рабочие Усолья несравненно более их знают. Пиле и Сысойко показали, как соль вываривают из рассола. Они еще никогда не видали такого множества соли: дорогой для крестьянина продукт привычен в щепотке, в солонице, а тут его в мешки ссыпают. Дали им соли в дар — они ее всю тут же съели, посолив ломти хлеба.

Показали подлиповцам баржи и барки, на которых бурлаки вниз по реке поплывут с металлом, а потом вверх, против течения, потянут нагруженные хлебом. Среди барок стояли три парохода: «Домины не домины, а с окнами, трубищи огромные, посередине

ровно колеса». Бывалые усольцы объясняют недоумевающим подлиповцам: пароход это — «больно прытко бегает и волокет за собой много».

Особенно быстро развиваются в городе сыновья Пилы. «Чем дальше шли ребята, — сообщает Решетников, — тем больше работали их головы». У отца и Сысойко они не могли получить объяснения новых предметов, какие им встречались за пределами Подлипной. И потому они стали расспрашивать других бурлаков и «большею частью рабочих», как уточнил Решетников; «те хотя и с бранью, но растолковывали им». Иван с Павлом стали понимать «больше, чем их отец». Как ни трудно было работать на заводе, а они осознали, что это лучше, чем бурлачить. Они и сказали отцу: «Тятька! робь лучше здесь». Но Пила с Сысойком все еще надеялись, подзаработав на лошадь и на корову, вернуться в деревню и зажить там богачами; разумеется, сравнительно с теми подлиповцами, кто никуда не пошел и остался дома доживать свой век на грани голодной смерти.

Решетников был убежден в природной одаренности людей из народа. На примере Сысойки и Пилы он показал, что даже у взрослых крестьян сквозь кору предрассудков, рожденных убогим деревенским опытом, могут пробиваться вполне современные представления и формироваться социальные понятия. Общая работа и жизнь заодно, в сходных обстоятельствах, объединяют прежде замкнутых подлиповцев с другими крестьянами. Решетников показывает в ряде сцен, как стихийным образом складываются в массе трудового люда зачатки социальной общности: «В друг друге они видят подобного себе человека, знают, кто, куда и зачем идет, знают, что цель у всех одинакова; сообщают свои понятия о том, что их интересует; едят вместе в домах, где их квартиры; делят пополам хлеб и вместе спят где придется... Если у бедного и больного человека нет хлеба, другой товарищ сжалится над ним, отдаст ему излишек, надеясь сам добыть хлеба хоть милостинкой»...

Подлиповцы вместе с другими крестьянами, ожидающими

набора в бурлаки,— это еще не рабочие. Но они в строгом смысле уже не вполне крестьяне: их захватил первый порыв раскрестьянивания. Этот социальный процесс получил развитие в России после реформы 1861 года, отлив народа из деревни только начался, численное возрастание рабочего класса еще впереди. Однако чувство рабочей солидарности уже возникает среди сезонников, бурлаков и других работников из вчерашних крестьян. Оно сильнее и более осознанно у рабочих уральских заводов, прошедших долгую и трудную выучку. «Когда у бурлаков не стало денег, — пишет Решетников, — рабочие два вечера угощали их за свой счет». Чувство солидарности постепенно крепнет и в подлиповцах по мере их духовного созревания: сначала они держатся друг за друга, пытаясь своим деревенским мирком противостоять всему остальному миру; потом они вместе со всеми — чердынские, вятские, вотские, татарские, пермяцкие люди — объединяются против приказчиков и против наиболее ретивых лоцманов.

Решетников сознает, что объединение работников на сплаве еще непрочно. Он показывает, как временами солидарность исчезает, и опять трудовая масса раскалывается на отдельные группы. Однако прежняя рознь — вековая, слепая, косная — уже невозможна, и подлиповцы вновь сближаются с теми, кто под влиянием минутных раздоров отшатнулся от них.

Оставив Матрену с Тюнькой в Усолье служить на солеварнях, Пила с сыновьями и Сысойком добрались, наконец, до цели. Во второй части повести Решетников показал российское бурлачество — без приукрашиваний, без поэтизации его богатырского размаха и без неоправданных надежд на будто бы накопленную им революционную энергию. Правдивость отличает его описания и в этой части повести. Правдивость, которая рождает двойственное чувство горечи при виде напрасно растрачиваемых народных сил и в то же время гордости за богато одаренный народ.

Вот собравшиеся на Чусовой крестьяне хлопотливо возятся возле снаряжаемых к сплаву барок. На первый взгляд страшная

неразбериха царит на берегу. «Целые две тысячи бурлаков копошатся у барок, на барках, на льду, в рубахах, дырявых и со множеством заплат; с иных пот каплет»,— пишет Решетников.

Что они знали, чему их учили? Вспоминается предостережение, высказанное в начале повести. Могли они сразу втянуться в непростое, незнакомое им дело? Писатель не скрывает, что и здесь подлиповцам предстоит многому научиться: «Кажется, барку нехитро сделать, а нашим бурлакам больно мудреною казалась эта штука». На них кричат, попрекают грошовым заработком, да им и самим неловко было бы стоять без дела. Вот и принимается иной из них рубить как попало доску или «пойдет бурлак рубить бревно и изрубит его так, что оно на дрова годится».

Этот суматошливый, из рук вон плохо организованный труд основан на том принципе, которым руководствовались правящие верхи и который не раз был представлен в сатире Салтыкова-Щедрина. Генералы на необитаемом острове, попробовав ловить рыбу, рвать плоды с дерева и ничего не сумев сделать, решили: надо мужика поймать — мужик все сделает! А один из щедринских кулаков-мироедов заявил о мужике: «Ён всё могит!»

Крестьянин в России всякому делу самоучкою обучался и действительно все мог. Решетникова поражает сметливость его героев. Бестолковые на вид люди от сохи, никогда не плававшие по большой реке и не видавшие ничего крупнее лодки, строят барки, грузят их металлом так, чтобы они не опрокинулись, сплавляют их среди порогов...

Разбудив мысль читателя, Решетников подталкивает ее в нужном ему направлении, чтобы читатель мог сам подумать и досказать недосказанное по цензурным соображениям, чтобы в его воображении получила дополнение картина народной жизни: ведь те же самые подлиповцы, которых брали в рекруты, могли сражаться под Бородином и героически оборонять Севастополь. Не они ли находились и среди той разноплеменной массы

сезонников, изображенных Некрасовым в поэме «Железная дорога», которые проложили путь от Петербурга до Москвы? Народом построены города России, ее многочисленные церкви, монастыри, барские усадьбы и немногочисленные университеты. Народом держалась и держится Россия. В благосостоянии народа — ее сила и надежда; она в неоплатном долгу перед нищим подлиповцем. Как бурлаки шаг за шагом тянут груженую барку против сильного камского течения, так и народ вытянет Россию в светлое будущее.

Повесть Решетникова будила подобные настроения у своего читателя Она отвечала на острейшие вопросы современности. Тургенев в одном из писем к Фету признал: «*Правда* дальше идти не может. Черт знает что такое! Без шуток — очень замечательный талант».

Правда была не только в описаниях крестьянского быта и бурлачества: Решетников верно понял и отобразил в своей повести направленность исторического развития. Он убеждал читателя в том, что будущее России — не в частном улучшении положения нищих деревенек. Крестьянину бесчисленных Подлипных при существующем правопорядке невозможно изменить свою жизнь к лучшему. Пока деревня остается прежней, для ее обитателей единственное спасение — бегство в город, приобщение к труду наемных работников. На этом пути погибает множество беглецов. Погибли и Пила с Сысойком: лопнувший канат хлестнул по бурлакам и насмерть зашиб двух подлиповцев. Они едва успели подняться выше на ступеньку в человеческом своем развитии и уже сознавали, что жизнь их в городе может и должна измениться к лучшему Попала в острог Матрена, остался бесприютным сиротой Тюнька. Лишь Павлу с Иваном удалось перенести удары судьбы: потерявшиеся в пути, отставшие от отца, они в конце концов пристроились кочегарами на пароходе, обзавелись кое-каким имуществом, научились читать и чувствуют себя счастливыми по сравнению с обитателями Подлипной. Они жалеют своих односельчан, погибающих от голода и невежества.

Повесть Решетникова своим содержанием была близка основным положением идеологии революционных демократов. Он утверждал бессмысленность попыток сохранить прежний патриархальный быт народа. Он считал вредными стремления иных писателей приукрасить старину. Тем, кто искренне желал помочь народу, Решетников подсказывал: золотой век благосостояния и справедливости не позади, в далеком прошлом, а впереди, в том будущем, когда народ получит право на труд, на образование, на свободу.

Изображая страшную действительность шестидесятых годов XIX века, Решетников оставался оптимистом по своим воззрениям на историю. Он верил, что его идеал достижим: освобожденный и просвещенный народ России сможет преобразить свой быт, свой труд, свою страну и создаст справедливое общество.

История подтвердила ожидания Решетникова: его идеал был осуществлен народами нашей страны в процессе полувекового развития после Октябрьской социалистической революции.

С. Е. Шаталов

Ф. М. РЕШЕТНИКОВ

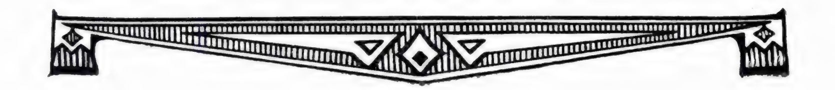
ПОДЛИПОВЦЫ

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
(ИЗ ЖИЗНИ БУРЛАКОВ)
В ДВУХ ЧАСТЯХ



Посвящается
Николаю Алексеевичу Некрасову


ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПИЛА И СЫСОЙКО



I

Деревня Подлипная очень непривлекательна на вид. Она состоит из шести домиков, построенных по левую сторону дороги, идущей от других деревень, и разбросанных по неровной местности так, что один домик стоит выше другого, другой около дороги, а третий и прочие пятятся к лесу. Домики эти, четыре с крышами, два без крыш — с соломою на потолке, с слюдою в оконных рамах, с стайками и плетушками, огорожены так: вколотили в землю несколько тонких березовых кольев, да и связали за них, параллельно к земле, где по две, где по три березки, и назвали плетнем. Ворот в Подлипной вовсе нет. Добро бы лесу не было, а то кругом деревни лес высокий и густой, все береза да сосна, можно бы э-во какие дома построить и заплоты дощаные с воротами сделать... «А пошто? — спросит подлиповец, не понимая.— А и так тожно баско!» За дворами не видится риг или зародов сена, нет огородов с овощами. Только направо заметны гряды с капустой, морковью и преимущественно картофелем.

Самая местность тоже непривлекательна, хоть зимой,

хоть летом. Против домиков, через дорогу, за грядами, большое поле, ничем не огороженное, потом лес, а в левой стороне тоже поле, а за полем тянется большое болото, поросшее мелкими кустарниками березы, ели или липы. Летом досадно становится, как посмотришь на поля: земля кое-как вспахана, кое-где на засохших кочках видится травка, да разве две-три лошади шатаются по полю, да и то недолго: они идут в лес, там больше травы. «Пробовали,— сказывают подлиповцы,— уж как вспахивали землю: и поздно и рано, да проку нет. Вспахаешь — стужа настанет, либо дождь, потом жара: все окоченеет, а там дождь, иней, снег... Пробовали и за хлебушком ходить, да все не в толк: только начинает созревать хлеб,— баско! вдруг дожди, заморозки, снег... Поплачешь, погорюешь, да и скосишь травку божью, измелешь и ешь так с горячей водой, либо настоящей мучки смешаешь, али коры осиновой, либо липовой наскоблишь...» Зимой частые ветры да вьюги по полю, снега большие до полокон заметают домики, а которые ниже, то и до крыш, а дороги и след простыл.

Мало в этой деревне видится жизни. Летом еще можно увидать мужчину или женщину, или ребят на поле или около домиков, но зато не слышится веселого говора, не слышится песен, у всех точно какое-то горе, какое-то болезненное состояние. На что дети — и те резвятся как-то словно нехотя: побежит, упадет, заплачет и побежит домой; даже лошади, коровы и свиньи ходят как-то сонно; одни только девять куриц да два петуха бегают скоро, и воздух оглашается криком крестьян на животных, лаем одной собаки, единственного деревенского сторожа, уцелевшей каким-то чудом от бойни хозяина, желавшего употребить ее шкуру на шапку, криком кур, маленьких ребят да чириканьем коростелей в болоте... Зимой еще хуже. Тогда все дома точно погребены снегом, на дороге

целую неделю не видать следов человеческих, все как будто спряталось, только кой-где корова промычит да рыщет по полю собака. Так вот и кажется, что люди вымерли или напала на них спячка.

В самых домах тоже не лучше. Самое худое время — это зима. Везде бедная обстановка, нечистота, плач и стоны; половина лежит, половина сидит молча или что-нибудь делает, ругая работу, ругая себя и все окружающее. Словно всем им жизнь опротивела, все чем-то мучатся, всем постыл свет божий... А есть между ними и молодые ребята и молодые девушки; правда, нет красивых, но все-таки и у них есть своя зазнобушка, тоска невыносимая, зависть лютая...

Живут в этой деревне государственные крестьяне Чудиновской волости, Чердынского уезда, бедные люди, каких много в северной части этого уезда, но еще беднее прочих крестьян. У крестьян прочих деревень есть какая-нибудь промышленность, природа дает им что-нибудь для сбыта, а эти просто держатся словно чудом. Уж как они ни возделывали землю, как ни молились своим пермякским богам, чтобы хлебушко свой был,— нет ничего. Просили они и попа сельского помолиться его богу — и тут не помогло. Так и бросили поле, и вот уже второй год, как поле стоит нетронутым и дает только небольшую травку животным. Купить хлеба подлиповцам не на что. Положим, они нарубят леса, но куда везти? город от них в ста верстах. Положим, скосят в лесу траву, и можно будет излишек продать; опять-таки город далеко, а в других деревнях и селах свое сено, свои дрова и свой лес — каждый бы сам продал. Вот они, сделав кадки, наберухи, лапти, везут это на продажу в город, но там и без них много таких горемык, как подлиповцы, и всякий сбывает за бесценок, лишь бы хлебушка купить. Занимаются они и стрелянием рябков, ходят на медведей, но на порох надо деньги,

а медведя хоть и можно убить ломом чугунным или чем иным, так медведей ныне мало. Сбыта очень мало, и редкий много-много получит в лето или зиму рубля три. От этого у них явилась апатия, все они потеряли надежду на сбыт чего-нибудь, и редкого вытащишь из его избы...

Каждый мужчина взрослый и женщина или девушка носят по одной рубахе круглый год, ходят летом в рубахах, зимой надевают полушубок из овечьей, телячьей и собачьей шкур, мужчины надевают на голову такие же шапки, а лапти носят все, кроме детей, которые едва-едва прикрывают тело чем-нибудь. Это еще ничего, но самое главное — пища мучит всех. Настоящий хлеб едят редкие с месяц в год, остальное время все едят мякину с корой, и от этого у них является лень к работе, болезнь, и часто все подлиповцы лежат больные, сами не зная, что с ними делается, а только ругаются и плачут. Надо заметить, что и в Чердыни хлеб слишком дорог, потому что его привозят туда только зимой из других городов или доставляют на судах бичевники летом из Вятской губернии — из Сарапула или Елабуги.

Подлиповцы уже привыкли к такой жизни, свыклись и с своими болезнями. Они знают, что помочь им некому; даже самые люди против них. Все они, жители своей деревни, родня друг другу — отцы, братья, сестры, кумовья и кумушки; родни у них много и в других деревнях, но те не любят их, не знаются с ними, потому что и сами-то они голые и от подлиповцев нечего взять. С своей стороны и подлиповцы не любят их и не ходят к ним. Подлиповцев не любят жители других деревень еще и за то, что подлиповцы своей пермякской веры держатся, слывут за ленивых, самых бедных, и их называют колдунами: захочет подлиповец посадить килу (грыжу) — посадит, захочет, чтобы такой-то умер,— умрет.

Зачем же подлиповцы живут тут? — спросит читатель.

Подлиповцам не растолкуешь этого, они сами не знают, откуда они взялись. Известно только некоторым из других деревень крестьянам, что сюда, когда еще не было поля и не было ни одного дома, давно переселился один крестьянин-зверолов из какой-то соседней деревни. Ему хотелось жить одному с своим семейством, так как он перессорился с своими однодеревенцами. Он построил дом и жил с женой и детьми несколько лет, не сообщаясь с прочими крестьянами. После его смерти два сына женились и построили еще два домика, дочь вышла замуж в другую деревню. Таким образом люди расплодились до тридцати человек и живут теперь в шести домах. Сначала они находились под управлением старших лиц в семействе, и к ним не заглядывало никакое начальство. Понятия их были такие: есть какой-то бог, а какой, и сами не знали, и только по преданиям своих отцов справляли свои праздники, молились чучелам. О существовании земли они знали только то, что земля дает пищу, да в землю покойников зарывают. Увидят они, что солнце ярко светит, и думают: это бог, молятся ему; светит ли ночью луна — тоже бог; и дождь, и снег, и молния — все бог. Знали они, что есть город Чердынь, только потому, что бывали там, а есть ли еще за Чердынью что-нибудь — дело темное. В городе они видели разных людей, но никак не могли понять, что это за люди; этих людей они боялись, не верили им и только ездили туда затем, чтобы сбыть необходимое для обмена на пищу. Но вот начальство заглянуло к ним: деревню их назвали Подлипною, обложили всех их податью, стали брать по одному в рекрута, приехал к ним священник и стал уговаривать принять православную веру. Подлиповцы ничего не понимали, никого не слушали и хотели разбежаться, но струсили: приехал становой пристав, обласкал всех; подлиповцы смирились, испугались, исполнили все, что от них требовали, и с тех пор так боятся

станового и попа (название, данное подлиповцами священнику), что при появлении того и другого прячутся в домиках и запирают двери. Сколько священник ни толковал им о боге, они не хотели понимать; хотя имели образа, но прятали их под лавки и вынимали, когда являлся священник; окрестившись, они, из боязни, стали отдавать крестить детей; венчались сначала по-своему, потом ехали в село к попу, везли к нему покойников... Ничего бы этого они не делали, да священник становым их пугал, а подлиповцы помнят станового, как он, когда в Подлипной умерло с голоду шесть человек, обласкал не только мужчин, но и женщин, сам не зная за что; а отрывши в лесу мертвое тело, увез главных стариков в село, потом в город, и с тех пор подлиповцы не видели своих стариков. Причта они еще и потому боятся: хотя он живет в селе, за пятьдесят верст, но как приедет в Подлипную, то дьячок непременно уведет самую лучшую корову или лошадь и продаст, а подлиповцы молчат, думают, так и надо, хотя и горько им и обидно; а не дашь, становой приедет.

При своей бедности подлиповцы постоянно в долгу; с них требуют подати, но им негде взять денег, и на них растут недоимки с каждым годом.

Неужели они не умеют работать? Подлиповец, родившийся в Подлипной, проживший в своей деревне детство и имея взрослых детей, умеет делать то, чему научили его отец и родня: он умеет дом построить; но заставьте его, читатель, построить дом в городе, он вам построит так, что вы и посмеетесь над ним и прогоните его. Отчего? Оттого, что подлиповец строил для себя дом по своему умению, собственно с тою целью, чтобы ему была защита от холода, дождя. Понятно, ему никаких удобств не надо. А вы любите, чтобы дом ваш был теплый и существовал долго, чего подлиповец не сумеет сделать. Заставьте вы подли-

повца печь складать, он вам складет по-своему. У себя дома он сложит печь, как ему отец передал: «Эй ты, цуцело, подь тамока... Где каменья увидишь — волоки». Сын притащил каменья. Достали из ручейка воды, вскипятили, разварили с глиной... «Мастюжь!» — кричит отец и сам работает. Через два дня печь готова, а через год она проваливается, нужно класть снова... Но растолкуй этим людям как следует, по-человечески, что нужно делать, они примутся и сделают еще крепче городского мастера. В этом я ручаюсь. Есть в Перми один печник. Он кладет печки дешево; но если склал, так печь и тепла всегда, и угара нет, и крепка. Его призывает только бедный класс, но богачи, само собой разумеется, надеются на архитектора — и поправляют печки через пять лет, а некоторые и раньше. Господин этот из Подлипной, только подлиповцы думают, что он без вести пропал или его медведи заели. Он был работником у одного печника шесть лет, теперь семнадцатый год работает сам, без работников, и имеет в Мотовилихинском заводе свой дом.

Подлиповцев нельзя винить ни в чем: они глупы, необразованны, но кто их вразумит, куда они пойдут?.. «Уж помру тожно, а тамока где уж!» Под этими словами можно понимать, что подлиповцам нравится своя деревня, а дальше — кто знает, что такое творится. «Уйти из Подлипной? куда пойдешь? Вон ушел из Подлипной Митюк Ковычка, еще молодой, и жену с двумя детями оставил, да так и пропал. Поди тамока, и тю-тю!.. Пошел Терешка Вятка куда-то лес сплавлять и утонул, сказывают. Мишка Гайва ушел в город какой-то, да так и пропал...» Все это напугало подлиповцев до того, что они замкнулись в своей деревне и живут по-своему, как живется: ведь растет же дерево, живут же лошади и коровы... Знают подлиповцы, что без жены неловко, надо бабу — и живут с бабами. Про идеальную любовь они вовсе не знают, у них своя

любовь: играли вместе, вместе росли, вместе и жить надо. Так и делается в Подлипной. Умрет тот или другой, они хотя и думают, что так и надо умереть, но им обидно, досадно, что умер такой-то, что опять надо к попу ехать венчаться. О любви подлиповцев я расскажу в следующей главе. Досадно им: зачем дети родятся от них, и с маленькими детьми обращаются, как люди с котятами; одни только матери немножко присматривают за детьми. С пятилетнего возраста дети растут на произвол судьбы...

Подлиповцы говорят по-пермякски. Плохо понимая наши слова, или хотя и выговаривают их, но в исковерканном виде. Выговор их походит на выговор крестьян Вятской и Вологодской губерний.

II

Ноябрь месяц в начале. Зима свирепствует немилосердно, как будто все зло свое хочет выместить над Подлипной и ее обитателями. Утро. Холод в тридцать градусов; ветер свистит по полю; деревья скрипят; верхушки их то и дело с шумом пошатывает направо и налево, и впрямь и вкось. Ветер рыщет по полю и гонит снег как назло к самым домам, до половины уже занесенным снегом. Дороги вовсе не видать — она сравнялась с полем. Больше всего достается крайнему домику, без крыши, с одним окном, со слюдою в рамах, до половины заваленному снегом. Ветер так и рвет с домика что ему под силу: вон доску, высунувшуюся с потолка, оторвало; вон посыпались высунувшиеся из-под снега каменья, составляющие трубу; вон четверть крыши со стайки оторвало; вон и слюда треснула в одной раме — пошел ветер гулять по избе... Ни одного человека не видно; не видно и животных, даже собака куда-то спряталась... Но вот вышел из одного дома крестьянин, в полушубке из овечьей и телячьей шкур,

в шапке из такой же шерсти, с длинными ушами, в огромнейших собачьих рукавицах, в синих панковых штанах и в лаптях. Он уже не молод; ему годов сорок.

— Эко диво! — сказал он, сторонясь от ветра. Ветер и стужа его злили.— Как пойдешь? гли, что диется...— Он начал шагать и тонул в снегу.— Эк испугались! Врешь! Ишь ты, цуцело, околи́ть бы те! — Он плюнул.— Да будь ты проклят, черт! — Крестьянин дошел до крайней избушки и вошел в нее. В избе холод страшный, ветер так и дует в окно сквозь раму; против окна снег на полу, на столе и на лавке. Изба очень бедна; кроме стен, стола, скамейки да одного худого лаптя, валяющегося среди пола, и небольшого корыта с корой и двумя большими ложками, в ней ничего не видно... Только на полатях да на печке кто-то стонет.

— Эй вы, цуцелы? Померли али нет?..

С полатей раздался стон.

— Ошшо живы! — сказал он весело.

— Пила, поди сюда!..— сказал с полатей мужской голос.

Вошедший, бросив на пол рукавицы, не торопясь полез на печь. На печке лежала старуха.

— Скоро помрешь? — спросил он ее с участием.

Старуха стонала. На полатях лежал Сысой Степанович Сысоев, прозванный по-подлиповски Сысойком. Ему двадцатый год, но он худ и бледен. Он лежал в полушубке, в шапке, в лаптях и дрожал.

— Печку бы... пали, братан... А? Ишь стужа, витер! — говорил Сысойко.

— Ну уж и времена!.. На́ картошки! — сказал Пила и подал Сысойке четыре печеных картофелины.

— Я тожно — беда. Наутро...— Сысойко хотел объяснить свою болезнь и разжалобить Пилу, но не умел. Вдруг он спросил Пилу: — а Апроська?

— Апроська помират.

— А может, представляется?.. Не помрет?

— Кто ее знает. А канючит больно: подь, бает, к Сысойке, снеси картошки, да пусть, бает, придет молочка потрескать.

— Ох, не говори,— не могу, моченьки нет...— стонет Сысойко.

Пила молчал. Ему жалко было Сысойку и его мать, которая была больная, слепая и сумасшедшая.

— Истопить уж печь-ту! А где ребята-те?..— Пила слез с печки.

— В печке,— сказал Сысойко.

Пила подошел к окну, стал сгребать рукой снег с полу; постоял у окна, ветер дует; надо бы заткнуть, а чем? ничего нет такого. Он взял с полу лапоть, приладил его в раму, а ветер все дует.

— Нет ли чего затыкать-то?

— Нету, братанко,— сказал Сысойко.

— Да хоть рукавиц, што ли, дай; жалко!.. Черт!! успеешь околеть-то... Боров! лежать бы все... Чуча!

Сысойко сбросил с полатей рукавицы и шапку. Пила затыкал ими раму; ветер перестал дуть, зато в избе темно сделалось.

Пила пошел на улицу: ветер все дул. Пила отскреб немного снегу от окна рукавицами и пошел искать дров около стайки, в которой лежала лошадь, не евшая ничего два дня. Пила долго удивлялся ветру: «Экой какой, сила какая!.. Эвон что разворочал». Он достал с потолка стайки сена и соломы, снес их лошади.

— Ужо я овсеца тебе принесу... Скотинка ты, скотинка экая! — жалобно говорил Пила, смотря на лошадь, как она принялась охобачивать сено и солому.

Гаврило Гаврилыч Пилин, по-подлиповски Пила, был человек добрый, пробойный и работящий. Он один из под-

липовцев понял, что, ничего не делая, жить нельзя; он как-нибудь старался приискать себе работу, сбыть ее, а главное, услужить своим подлиповцам. Назад тому год Пила постоянно стрелял дичь и сбывал ее в городе, хлеб у него водился; но как-то раз утопил ружье в реке, сам простудился и, пролежав два месяца, обеднел до того, что ему с семейством привелось есть кору, а корове и лошадям вовсе нечего было есть. Оправившись после болезни, Пила насобирал у подлиповцев наделанных кадок, кузовков и лаптей, отправился за больных продавать в селе и городе. У Пилы в городе был знакомый хозяин постоялого двора, а он через посредство его находил себе покупателей. Он и раньше возил вещи, но теперь постоянно стал заставлять подлиповцев работать, и для него ничего не значило съездить за сто верст: он одну половину денег отдавал крестьянам или покупал муки, а другую брал себе и покупал для себя пищи. Если в городе ничего не покупали, Пила шел собирать ради Христа и потом делился с подлиповцами. Своим подлиповцам он помогал чем только мог. Бывало, скажет подлиповцам: «Чего сидите, робь; я буду робить»,— и подлиповцы работают с Пилой, нет Пилы — подлиповцы лежат. Скажет подлиповцам: «Смотри, траву надо косить»,— здоровые идут косить, а не скажи Пила, что траву надо косить, подлиповцы не догадаются. Все подлиповцы любили Пилу, и каждый спрашивал его совета или просил полечить, так как Пила лечил больных травами, хотя сам не понимал никакого толку в травах. Мысль лечить травами пришла ему в голову тогда, как он увидел в городе крестьянина с травами. Пила не понимал, для чего крестьянин травы продает. «Это што?» — спросил Пила крестьянина. «Это лекарствие». Слово «лекарство» для Пилы было новостью; ему показалось, что это что-то баское. «А как это делают?» — спросил он крестьянина. «Да так. Коли кто

захворает, ну и пьет траву, коя идет на такую болесть. Тут всякие есть: затрясет тебя, лихоманка забьет, брюхо заболит, ну и лечатся такой травой».— «Лиже ты! А где они растут?» — «В лесу да в болотах...» Вот Пила и стал собирать летом в лесу да в болоте разные травы с цветочками, вырывал с кореньями и лечил подлиповцев. «Ну-ка, сьешь эту травку, хворать не станешь»,— говорил Пила больному. Больной ел, и ему становилось либо лучше, либо хуже, и все-таки все просили у Пилы травы. Пила давал, не требуя за это ничего. Священник требовал, чтобы крестьяне непременно крестили детей, везли в село умерших, венчались; первое подлиповцы не исполняли до тех пор, пока священник не приезжал сам за сбором; за умерших они боялись и везли все покойника в село; свадьбы венчались редко: подлиповцы жили до тех пор, пока опять не приедет священник за сбором; а как приехал — беда. «Возит с собой штуку какую-то (метрическую книгу) и давай читать да пугать — беда!» — говорят подлиповцы и едут венчаться в село, но только с Пилой. Причт просит денег либо масла за свадьбу, и Пила пойдет сбирать ради Христа, жениху и невесте велит то же сделать, и, насобирав чего-нибудь, идут к причту. Все подлиповцы удивлялись Пиле: как это он всегда успевает, все умеет сделать, всегда весел и редко хворает, даже и с семьей его ничего не делается. Поэтому его прозвали колдуном и боялись. Пила никогда не был колдуном, но слово это его забавляло.

Пила уж третью неделю не выезжал из деревни. Все подлиповцы сделались больны от мякины и коры; продать нечего; дочь Пилы, Апроська, тоже захворала, жена его Матрена и парень Иван третьи сутки не встают. Пила не знает, что и делать, кому и как помочь,— травы его не действуют; надо бы купить муки да уехать. Пила боится: как да все без него помрут? Наконец, и у Пилы

не стало муки, и он принялся мешать в мякину кору, и его тошнить стало. Хорошо еще, у него картофель есть да корова дает немного молока: для себя достает, а если другим уделишь — у самого ничего не будет. «Экая беда! — думает Пила,— что теперь делать — не знаю. Уедь я — все помрут, и Апроська, и Сысойко...»

Жена Пилы, Матрена, была такая же, как и прочие подлиповские женщины, часто хворающая, но несколько крепче прочих: она скоро выздоравливала. Работы у Матрены никакой не было, кроме того, что она доила корову. Она спала и во всем надеялась на мужа. Пила на нее смотрел, как на какую-то потребность, часто возил он ее с собой в лес и в город, приучал к какой-нибудь работе, но Матрена ничего не хотела делать, за что Пила бил ее во время своей злости, как лошадь, чем попало.

Все дети их: Апроська девятнадцати лет, Иван шестнадцати, Павел четырнадцати и Тюнька трех лет — росли на произвол судьбы. Апроська была некрасивая девушка, худая, часто хворающая, ничего не делающая, как и мать. Отец бил ее, Ивана и Павла, как и свою жену, за то, что ему не нравилось; но Апроську Пила любил как будто даже более, нежели дочь.

У Апроськи на семнадцатом году был ребенок, но ребенок этот не дожил до приезда священника, и когда он умер, его зарыли в лесу. Теперь отец знал, что Апроська опять скоро родит, и знал, что ребенок будет от Сысойки.

На Ивана и Павла Пила смотрел как на работников, не позволял им сидеть даром, не верил их болезням. «Какая хворость вам, эким парням? Я вон прежде не хварывал»,— говорил Пила, когда парни лежали. Жалость к детям у Пилы была тогда, когда они уже ревели от боли. Пиле казалось неприятно это, жалко было ребят, потому что он бы мог замениться ими, и в то время он кормил их

больше, насильно заставлял есть травы. Павел и Иван были забитые парни, умели нарубить дров, знали дорогу в село, но в городе никогда не бывали. Брат с братом жили так дружно, что никогда не расставались, работали вместе и старались отличиться друг перед другом. Начнет Иван плести лапоть, Павел тоже плетет лапоть и дразнит брата: «Уж тебе где смастюжить! то ли я! Смотри — как?» — «Эх, Пашка, не дразни! Ты смотри, как я делаю». Часто Пила посылал парней понаведаться к какому-нибудь подлиповцу; братья ходили вместе и проводили весь день в гостях. Если кто-нибудь работал, братья высматривали работу и дома старались сделать так же; если работы были обыкновенные у всех, они делали тут же, передразнивая и смеясь над девками и мужиками. С молодыми девками они обращались запросто, как с своей сестрой: передразнивали, щипали их за бока, ругали. Это была их любовь. Пила поговаривал женить Ивана и сговорил ему одну девку, Агашку. Иван стал ходить к отцу Агашки, по научению Пилы, которое заключалось в следующих словах: «Дубина ты, как я погляжу, не знаешь, што баско... Пора тебе с бабой жить...»

— А пошто?

— Дурень ты! говорят, будет баско.

Ивану казалось смешно, он чего-то пугался, однако скоро уже постоянно ходил к Агашке. Эта любовь продолжалась полгода. Павел узнал от брата, что с девкой жить хорошо, тоже нашел себе девку.

Сысойко живет рядом с Пилой, и дома их не отделены друг от друга даже плетнем. Сысойко был самый бедный в деревне и редко бывал здоровым. Отец его ходил на медведей с чугунным ломом и брал его с собой. Но медведей было мало, так что в год они убивали много медведя три. Мясо медвежье они ели, а шкуру продавали в село за дешевую цену. Тогда, при отце, можно было жить, но вот

уже два года, как отца загрыз медведь, а Сысойко, бывший с отцом, хотя и убил этого медведя, но медведь исцарапал ему плечо. Сысойко едва-едва дошел до своей деревни, сказал о беде Пиле и вместе с ним повез отца в село, захвативши с собой и убитого медведя. Священник не стал хоронить отца Сысойки, а почему-то призвал станового пристава. Становой привязался к Сысойке и Пиле, говоря, что не медведь загрыз отца Сысойки, а они уходили его и только для формы привезли медведя. Становому хотелось взять себе убитого медведя, и он взял-таки его и попросил священника отпеть покойника... С той поры Сысойко живет очень бедно: в лес бить медведей не ходит, стрелять дичь — пороху нет, продавать кадки и прочее не стоит, да и Сысойко умел только лапти плести. И вот Сысойко помогал в чем-нибудь Пиле, то есть вместе с ним искал лекарственную траву, ездил по нужде в село и в город, за что и пользовался от Пилы подачками хлебом и мясом; но так как он часто хворал, то и не мог всегда бывать с Пилой, и Пила навещал его. Пила и Сысойко так привыкли друг к другу, что по целым дням проводили вместе, ничего не делая, а лежа; если Пила хворал, да Сысойко был здоров, Сысойке казалось, что и он хворает, и наоборот. Пила и Сысойко в болезнях всячески старались угодить друг другу, а если Сысойко был здоров, то целую неделю жил у Пилы и спал на полатях с Апроськой.

Сысойко и Апроська росли вместе, но тогда у них были только детские отношения; такие же отношения были и тогда, когда Сысойке было восемнадцать лет, а Апроське шестнадцать, но скоро они уже изменились. С первого же времени молодые люди привязались друг к другу — обоим им было скучно, когда они не видели друг друга по неделям, а потому часто наведывались друг о дружке у Пилы и сходились — или Сысойко в доме Пилы, или Апроська в доме Сысойки.

Сысойке страшно опротивела жизнь в своем дому: каждый день и даже ночь ревели его маленькие брат Петр четырех лет и сестра Пашка двух лет, которые мерзли с холоду и постоянно голодали. Эти маленькие дети, не умеющие еще выговаривать и ходить, постоянно лежали или сидели полунагие, одетые в несколько тряпок, сшитых наподобие мешков. На них не обращалось внимания ни Сысойком, ни матерью, которая, больная и сумасшедшая, постоянно лежала на печке и охала. Куда Сысойко ни посадит детей, там они и сидят, там и ползают. А если Сысойко садил их на полати, что случалось очень редко, то ребята то и дело получали колотушки... Он даже нарочно садил их на голый пол для того, чтобы они скорее умерли, нарочно не давал есть, думая, что они помрут; но ребята кричали с каждым днем хуже,— Сысойко злился, хотел их пришибить чем-нибудь, но ему было жалко, он чего-то боялся... Пила жалел детей и всегда приносил им что-нибудь; при появлении Пилы дети начинали плакать и махали ему руками. Сысойко, когда бывал здоров, по неделе не заглядывал в свою избу, а терся у Пилы или где-нибудь с Пилой; об сестре и брате и, наконец, о своей матери он не думал в это время; он рад был, что наконец-то нет их, не слышатся крики, не ворчит и не охает старуха.

Хотелось Сысойке жить у Пилы; да Пила говорил:

— Нет, брат, изба моя махонькая, куды же я тебя пущу с ребятами и матерью?

— Да я один...— напрашивался Сысойко.

— Уж не говори. Те ребята-то все же брат да сестра... Ну да хоть помрут, не жалко, а мать-то? Она, брат, родила тебя.

— А ты лучше живи там, да сюда ходи,— заметила Матрена.

Сысойке еще хотелось жить одному с Апроськой да с Пилой. «С Апроськой баско. Пила хлеб носит»,— думал

Сысойко. Но где жить? В своем доме нельзя — мать и ребята; Пила не пускал, да у него и жена и дети. Долго Сысойко ломал голову на этот счет, да ничего не выдумал. Пила тоже думал: как бы устроить, чтобы Сысойке было лучше. Хоть и жаль Апроськи, и надо же ей жить с Сысойком, потому что поп так *велит*[1], да и от Апроськи будут дети рождаться: но где жить? Жить в его доме нельзя, потому что у него свое семейство, парни того и гляди приведут в дом по девке, а как поп велит им жениться, то и самому тесно будет. Отдать Апроську Сысойке, чтобы они жили в Сысойковом доме,— там мать сумасшедшая, ребята ревут маленькие... Но до того, чтобы выстроить Сысойке избушку, Пила не додумался. Он на том и решил: уж пусть живут так, как теперь; а как помрет старуха Сысойкова да маленькие ребята, тогда и можно Апроську Сысойке отдать. А поп приедет, ну и венчать можно. И ребята пойдут от Апроськи, все же лучше, опять к попу можно съездить. «Только те не помирают. Уж померли бы скорее, пользы-то от них нет — только мука одна»,— думал про себя Пила и сообщал об этом Апроське и Сысойке, которые с своей стороны тоже соглашались в этом мнении с Пилой и стали ждать да ждать, чтобы те умерли...

III

Пила принес в избу Сысойки охапку дров. Бросив их на пол около печи, он заглянул в печку. Там лежали мальчик и девочка нагие.

— Эй вы, лешие! Вылезайте!.. спалю тожно...— кричал Пила.

---

[1] То есть велит венчаться. *(Примеч. автора.)*

Из печки не слышно было ни голоса, ни движения.

Пила потащил из печки за ногу мальчика. Мальчик был мертвый.

— Ишь ты! — сказал Пила и стал щупать мальчика.— Помер.

— Кто? — спросил Сысойко.

— Парень.

— Ну и ладно... А девка-то? — спросил Сысойко и высунул голову с полатей.

Пила вытащил за ногу и девушку. Она была мертвая. Левый висок ее был чем-то проломлен; лица ее незаметно было: все оно запеклось от крови, и на нем засох мусор от печки.

— Сысойко, гли! (смотри).

Сысойко плохо видел с полатей.

— А што, померла?

— Слеп ты, што ли? Гляди, убита!..

— Вре?!

Пила положил мальчика и девушку на лавку и долго смотрел на них жалобно.

— Слышь, Сысойко? Ты убил девку-то?

— А пошто?

— Право, ты?

— Цуцело ты, Пила! Што я медведь, што ли, эк ты! — Сысойко не стал и говорить больше, а спрятал голову в полушубок.

Пила нащепал березовой лучины, достал на трут кремнем огня, зажег лучину и стал смотреть в печку. В ней лежал большой камень, отвалившийся с неба печки. Теперь Пила понял, что не Сысойко убил девку, а этот камень сам отвалился. Только как же на парня камень не упал, а на одну девку?

— Смотри-кась, экой камень-то! — сказал Пила Сысойке, показывая ему камень.

Сысойко посмотрел и разинул рот от удивления, но ничего не сказал.

Пила склал в печку дрова, зажег. В избе сделалось светлее.

Пила опять подошел к ребятам. Жалко ему стало ребят. «Эх, голова-то как раскроена... Мальчонки, мальчонки! Жить бы вам долго, да што жить-то? Лучше, как померли. Вот, Сысойко, и померли ребята!..»

— Померли. Теперь я к тебе пойду.

— А мать?

— Помрет.

В это время простонала на печке старуха и что-то несвязно пробормотала. На это ни Пила, ни Сысойко не обратили внимания.

Пила стал рассуждать, что делать с ребятами. Зарыть их так — поп узнает, и тогда беда; ехать к попу — будет денег просить... Пиле хотелось ехать в село; у него не было хлеба, и он ждал только удобного случая ехать туда. Случай этот выпал — везти хоронить детей.

— Ну пошто ребят туда везти? Зарыть бы здесь в лесу, так нет ишшо, деньги давай,— сердился Пила.

— Ты не вози,— сказал Сысойко.

— Ишь ты! Как наедет —лучше будет? Нет уж, свезу.

В избу прибежал Павел.

— Апроська зовет! ись, бает, хочу.

— А ты что? нету, што ли, картошки-то?

— Молока просит.

— Поди подой корову-то.

— Я доил, да нету молока-то.

Пила ушел в свой двор. Стал доить корову, у той не было молока.

— Родить тожно хочет,— сказал про себя Пила.

Пила ушел в свою избу. В его избе было немного чище

и светлее. Отсутствие одежды и других вещей здесь было такое же, как и у Сысойки. На печи лежала Апроська, некрасивая худая девушка. На полатях сидели: Матрена, Иван и Тюнька. Все они ждали молока. Матрена жевала картофель.

— Ты ушел и утонул; дома хоть помирай...— ворчала Матрена.

— Чего помирай! Вон ребята Сысойковы померли. Сысойко, гляди, помрет, а старуха уж поди теперь померла.

— А Сысойко? хворат? — спросила Апроська.

— Сказано, помират.

— А молока принес?

— Где возьму? Вон корова-то родить тожно хочет, нету молока-то.

Матрена заворчала:

— Уж у тебя все так. Когда я дою, всегда молоко есть... Уж изленился ты совсем.

— Я те, стерво! Поворчи, што я тебя не отщепаю!

Пила ушел из избы рассерженный. Он пошел в третью избу, к соседу Морошке. Морошка был нездоров, нездоровы и дети. Жена его плела лапти.

— Нет ли продать чего? — спросил Пила жену Морошки.

— А ты в город?

— В город. Вон у Сысойки ребята померли; надо к попу везти.

— Ладно. Вон тамо лапти складены, возьми.

Пила взял две пары лаптей и пошел домой.

— Нет ли у те травки? — спросила жена Морошки.

— Как нету!

— Дай, родной!

— Ну, погоди, Пашку пошлю... А Агашка как?

— Ой, и не говори!

— Ванька у меня тоже... Вон с Пашкой ничего не делается...

Иван был жених Агашки.

На другой день Пила сделал ящик в виде гроба, положил в него два маленьких трупа, завернутые в мешки, заколотил ящик досками и повез на дровнях в село, вместе с двумя парами лаптей и тремя берестяными бураками от Морошки.

IV

В село Пила приехал ночью. Переночевав у знакомого крестьянина, он утром отправился к священнику. Известно, что в сельских церквах служат только по воскресеньям и в большие праздники. Так и теперь церковь была заперта, и к ней не было даже дороги проложено, то есть не заметно было следов человеческих с дороги. Священник долго не соглашался хоронить детей. Пила несколько раз ездил к нему, и вот уже в пятый раз приехал к нему и ничего не дает. Священника это просто до слез проняло. Он стал надевать худенькую, с заплатами, рясу.

— Вот что, Пила: ты в пятый раз ко мне приехал, а ничего не привез. Смотри, у меня на ногах-то лапти! — Священник был в лаптях. Пила в этом не видел ничего удивительного; ему смешно показалось.

— Тебе смешно, а мне плакать хочется. Вот уже шестой год живу здесь, а ничего не приобрел. Просил, чтобы перевели, да выговор получил.

Пила плохо понял.

— Так мне надоело житье с вами! Уеду я таки от вас.

— А ты уедь, право! — сказал Пила.

— И уеду.

— А ты теперь уедь.

— Не пускают. Да и что толку в том, что я уеду!

Пошлют другого на мое место, и тогда вам хуже будет.

— Ишь ты. А ты не поедешь?

— Не пускают.

Священник кликнул дьячка и послал его с Пилой в церковь.

— Пила, дай корову! — сказал Пиле дьячок.

— Ишь ты! А я-то как?

— Ты купишь.

Пила захохотал.

— А если не дашь, и отпевать не будем.

— А я сам зарою.

— Право, отдай... Были бы деньги, не стал бы просить. Вот у нас сынишко подрос, надо бы в училище везти да дать там смотрителю; а что я дам? — говорил дьячок, чуть не плача. Пиле сделалось жалко.

— Ты, Пила, не чувствуешь этого... Ты не поверишь: детей обучить надо, а детей-то шестеро да жена...— Дьячок плакал.

— Не ты один такой, ты на нас погляди: мы-то как живем!

Дьячок только рукой махнул.

— Ну-ко, Пила, открой гроб!

— А пошто?

— Так нельзя.

— Да ты уж совсем зарой, а то земля-то в глаза насыплется.

— Ну, открой. Тебе говорят, нельзя так... Кто тебя знает, что ты привез тут.

Пиле обидно стало.

— Цуцело ты, как я погляжу! Сказано, Сысойковы ребята.

— Хочешь, станового призову?

Пила струсил и открыл топором одну доску.

— Ты другую открой.

Дьячок раскрыл один мешок. Мальчик лежал лицом кверху; дьячок осмотрел его всего — мертвый. Жалко ему стало мальчика. Раскрыл другой мешок. Девушка лежала на животе. Стал и девушку осматривать дьячок и, как взглянул на лицо, с ужасом отступил.

— А, так ты так-то хочешь нас провести! Что это такое?

Пила испугался.

— Батшко, не я!

— Врешь! Кайся, разбойник!

— Ты не кричи,— эк испугались! Медведей бивал!

— Так ты еще запираешься? Сейчас станового призову.

Пила повалился в ноги.

— Батшко, не губи!.. Камнем девку-то пришибло в печке! Што хошь возьми... не губи...

— Рассказывай, как было!

Пила рассказал все. Дьячок верил и не верил. Он стал еще смотреть на лицо девушки: кажется, и камнем из печки пришибло, кажется, и другой кто-нибудь убил. Он затруднялся: поверить Пиле или нет?

— Не верю я тебе; я пойду к становому.

— Батшко, не губи! Я те все сказал... Што я, зверь, што ли?.. Сысойко хворат, старуха тоже... А эти в печке дрыхнули... Я так и увидел камень на лице-то.

— Целуй крест!

Пила поцеловал.

— Клянись, что не ты убил.

— Эх ты! Я вон и Сысойку спрашивал, он заревел только, жалко стало. А ты говоришь: убил, убил!.. Эх ты!.. Я вон только восемь медведев убил...

Дьячок опешил. К подобным выходкам он уже привык.

— Давай корову!

Пила опять повалился в ноги. Жалко ему было коровы, а как он да к становому пойдет?

— Не погуби, батшко!

— Так не даешь коровы?

— Не дам.

— Ну и не давай.— Дьячок пошел из церкви и, увидев постороннего крестьянина, позвал его.— Ступай, Семен, за крестьянами да позови станового.

— Батшко, не зови! Дам корову!..— кричал Пила.

— А не дашь?

— А дам, только станового не зови...

Дьячок сказал Семену, что станового и людей не нужно.

— Ну, теперь, Пила, ступай за коровой, а схороним после.

— Ты теперь зарой.

— Сказано, приведи корову.

— Варнак ты, варнак!..

В это время подошел пономарь с ружьем.

— Ну и погодка анафемская,— сказал он,— шел-шел и воротился. Порох забыл... Ах, будь ты проклят!..

— Вот что, Гаврилыч. Поедем-ка в Подлипную за сбором.

— Ну уж, черта два получишь!

— Ты посмотри вот на ребенка, что они делают.

Пономарь посмотрел на лицо ребенка.

— Ах ты, разбойник! Ах ты, мерзкая душонка! Сходить за становым?

— Нет, он корову хотел дать.

— Обманет, стерво!

— Обманет, тогда к становому уведем.

— Ну, Пила, молодец! Дьячку ты даешь корову, а мне дай лошадь!

— Я те дам лошадь.

— Что? — Пономарь схватил Пилу за бороду. Пила толкнул его так, что он упал на пол. Пиле смешно стало.

— Што? Я, бат, восемь медведев убил.

— Собирайся, Гаврилыч.

— Чай, надоть отцу Петру про дело-то рассказать?

— Скажем и ему.

Через два часа Пила вез в Подлипную на своей и поповской лошадях, запряженных в поповские сани, попа и дьячка.

V

Дорогой в Подлипную Пила долго ругался. Ругал он и священника и дьячка. Вины за собой он никакой не знал: ребята не его, за что же корову-то с него просят? Уж лучше бы самому зарыть ребят в лесу... А корова-то какая славная; теленка скоро родит; можно будет продать теленка-то да хлебушка купить... Говорила жена: не езди, не бери ребят. Так нет... Священник с дьячком рассуждали: как поступить с подлиповцами; все они ничего не дают, никакие страхи их не берут и веровать-то они по-христиански не хотят...

Наконец, приехали в Подлипную. Священник и дьячок вошли в избу Пилы и влезли на полати, потому что в избе было холодно, да к тому же они хорошо прозябли. У дьячка был в запасе бурак с водкой. Семейство Пилы осталось на печке. Апроське было немного легче, но она все лежала. Иван все хворал. Матрена ходила.

— Ну-ко, Матрена, дай нам закусить, — просил священник.

— Да что я тебе дам-то? Хлебушка нет, молока нет. Кору нынче едим...

— Поди, посбирай в деревне.

— Где уж, там ни у кого нет хлебушка. Вон Пила не

привез ли...— Пила действительно привез две ковриги хлеба и несколько фунтов муки. Пила распрягал лошадей, ругая дьячка. Павла он послал к подлиповцам: «Беги ко всем, скажи: поп, мол, наехал, тащи, мол, образа в угол...» Павел ушел и сделал так, как велел Пила. У подлиповцев до сей поры все образа были где-то на полатях; теперь Павел поставил их на полки в передних углах.

Пила принес в избу хлеба, отрезал несколько ломтей и роздал священнику, дьячку и своему семейству. В несколько минут одной ковриги не стало.

— Ты, тятька, снеси Сысойке-то! — просила Апроська Пилу.

— Эй ты, Пила, хошь водки? — кричал с полатей дьячок, уже опьяневший.

— Давай.

Пила хлебнул из бурака.

— Смотри, не обмани... Обманешь, трех дней не проживешь,— продолжал кричать дьячок.

— Молчи, оттаскаю за волосы-те! — ворчал Пила.

Дьячок соскочил с полатей, хватил было Пилу за бороду, да Пила его на пол бросил.

— Ты знай, у меня сила, а у те що! — бахвалился Пила.

— Ну, пойдем к подлиповцам,— сказал священник, слезая с полатей.— А ты, девка, все еще не замужем? — спросил он Апроську.

— Нет, батшко.

— То-то смотри. Найду ребят, беда тебе будет!

— Ужо тепло будет, повезу ее,— сказал Пила.

— Ты давно мне говоришь. С кем ты ее хочешь свенчать?

— А с Сысойком.

— То-то. Ну, пойдем.

Пила повел священника и дьячка к Сысойке. С собой он захватил полковриги хлеба. Сысойке было легче, но он все еще лежал. В избе холодно и темно.

— Зажигай лучину! — командовал дьячок.

Лучину зажгли.

Священник стал смотреть в передний угол: есть ли икона.

Икона была.

— Эй вы, черти! Отчего никого нет? — кричал дьячок.

— Да больны они, больно больны,— сказал Пила. Сысойко спрятался в угол на полатях и молчал. Мать его по-прежнему стонала.

. . . .

. . . .

Переночевав у Пилы, священник и дьячок поехали в село. Пила ехал за ними на дровнях; за дровнями шла Пилина корова с веревкой на шее.

Как ни горько было Пиле вести корову в село, но он, из боязни, чтобы не погубил его становой, решился-таки отдать ее. «Ужо, как помрет Пантелей, возьму его корову себе. А не помрет, из другой деревни уволоку»,— думал Пила.

Матрена, как Пила стал привязывать корову к дровням, поленом ударила Пилу, дьячка обругала, как только могла, и, может быть, убила бы Пилу за корову, да у нее силы не было: Пила и дьячок до того избили ее, что она едва-едва добралась до своей избушки. Матрена больше всего в своей жизни любила корову. Корова для нее была больше, нежели дети: дети ей ничего не давали, а корова снабжала всю семью молоком и летом не просила есть, а питалась в лесу, сама находила пищу для себя; только зимой Матрена наваливала ей сена каждое утро. А теперь как она будет жить без коровы?..

VI

Пила приехал в село вечером. Заплакал Пила, как заперли его корову в чужую стайку. Хотел он увести корову ночью, да двери стайки были на замок заперты. На другой день отпели умерших, а Пила с церковным сторожем едва-едва сделали на кладбище маленькую ямку и свалили туда гроб, потом завалили яму землей и снегом. После этого Пила пошел к дьячку просить денег. Дьячок сжалился над Пилой, дал ему пятнадцать копеек серебром. Пила был очень доволен этими деньгами и даже повалился в ноги.

Выйдя из двора дьяческого, Пила долго стоял у своей лошади. Его сильно давило горе. Он лишился коровы, которая кормила его. Как он теперь без коровы будет жить? Как семья его пробьется до лета? Не корова бы, что бы было с ними? Пиле все теперь опротивело, проклял он свою жизнь, долго бил свою лошадь, сам не зная за что, сел на дровни, стегнул лошадь, лошадь пошла по улице. Пила не знал, куда ехать, и пустил лошадь на произвол. Лошадь дошла до лесу. Дорога вела в деревню. Пила не поехал в деревню, а поехал в город.

В городе Пила шатался две недели. Жил он подаянием добрых людей. Придет в дом, попросит ради Христа, ему дают кто ломтик хлеба, кто грошик. Ломтей у Пилы накопилось много; деньги шли на водку. Хотел он купить на рынке корову, да просили десять рублей. Видел он дьячка своего сельского, тот сказал ему, что корову он подарил по начальству. Узнавши, где корова, Пила две ночи сряду ходил к воротам нового ее хозяина, да все ворота заперты; перелез он через заплот, да и там не нашел коровы, а зарубив топором двух свиней и перебросив их через заплот, увез в лес и там зарыл в снегу.

Пила собрался ехать, как увидел около питейной ла-

вочки толпу мужиков: зырян, вотяков, пермяков и крестьян Вологодской и Архангельской губерний. Пилу любопытство взяло, и он спросил одного из толпы:

— Што, ребя?

— Ништо,— сказал один крестьянин.

— Ты откедова? — спросил Пилу другой крестьянин.

— А подлиповеч! А вы-то?

— А мы бурлацить.

— Лиже! А поштё?

— Бают: баско, богачество, бают...

Пила задумался. Каждую зиму он видел около этого кабака толпу мужиков, каждую зиму он слышит, что они идут бурлачить, богачество, бают, от бурлачества получают. Прежде Пила не верил мужикам, говорящим про богачество, и не спрашивал, что такое бурлачество; теперь ему опротивела жизнь, мужики раззадорили его: не лучше ли бурлачить? спросил сам себя Пила. «А Сысойко?.. а Апроська? Ну их к лешим и с бурлачеством!..» Апроська показалась Пиле милее бурлачества... «Уйди там, а куда?.. Ну, уйди — и тю-тю...» — думал Пила. Однако он снова подошел к бурлакам.

— А вас много?

— Не все ошшо.— Их было человек тридцать.

— А далеко?

— Далеко.

— А што робить?

— Плыть.

— Э! А скоро идти-то?

— Скоро.

Пила ушел от бурлаков и поехал в Подлипную. Дорогой он думал: «Идти в бурлаки или нет? Бурлачество, бают,— хлеба много... А в деревне што! тот болен, другой помирает, третьего везти хоронить надо, да поп еще привяжется. Эх! Надоела эта жизнь!.. Дай пойду в бур-

лаки... Надоели подлиповцы; пусть помирают, мне не пособить. Только выздоровеет Сысойко и Апроська, возьму их с собой...» Пиле эта мысль хорошею показалась, он захохотал и решился во что бы то ни стало уйти с Апроськой и Сысойком бурлачить, сам не зная, что это за дело такое, веря в слово «богачество» и в надежду иметь всегда много хлебушка... «Уйду же я, уйду! Уж не поклонюсь боле никому, не дам коровы. Что я без коровы-то? Вон везу две свиньи, да что толку — не живые. И станового теперь не боюсь...» При мысли о том, что он будет бурлачить, Пила чувствовал какую-то легкость, свободу, удовольствие и никого не боялся.

До Подлипной Пила ехал четыре дня. Ночи он спал в деревнях. Каждую ночь ему мерещилось бурлачество или он идет куда-то на гору с Сысойком, Апроськой и всеми подлиповцами. Сердится Пила: зачем это прочие подлиповцы идут, зачем и Матрена тут? и старуха Сысойкова тут? Идут они долго-долго, все гора, и конца нет. Вот один свалился с горы, за ним другой и прочие, и Пила в страхе кричит и пробуждается. «Не дошли...» — ворчит Пила и силится заснуть, чтобы увидать что-нибудь получше — хорошо ли бурлачить... Ему опять кажется, опять он с своим семейством и подлиповцами на поле и все рубят дрова. Рубят-рубят, а дров нет. Где же Сысойко и Апроська?.. Жалко стало Пиле, стал он искать их, нашел: лежат в подлиповском болоте мертвые — медведем изгрызены. Заплакал Пила, заревел... Проснулся, на глазах слезы... Живы ли Сысойко и Апроська?.. Сердце дрогнуло у Пилы: а что, если померли?.. Пила не мог придумать, что будет с ним, если помрут Апроська и Сысойко. Он только и придумал: «А пошто я-то не помру? Я-то на што живу?..» В первый раз в жизни Пила почувствовал сильное горе. Его мучила не корова, а Сысойко и Апроська...

Мысль о Сысойке и Апроське всю дорогу мучила Пилу;

всю дорогу он не находил покоя. Зол сделался Пила, и боялся он приехать в деревню, точно в ней сто медведей засели...

VII

Приехав в деревню, Пила прямо отправился к Сысойке. Домой он побоялся прийти. В избе было темно и холодно, не слышно ни звука, ни шороха... У Пилы сердце дрогнуло.

— Али померли? — сказал Пила.

Пила не получил ответа. Хотелось ему удостовериться, залезши на полати, да боялся Пила. В первый раз в жизни Пила побоялся покойников. Однако Пила залез на печку. Там лежала мать Сысойки. Пила заглянул на полати, никого нет. Полегче сделалось Пиле.

— Таперь Сысойко у меня... мать, верно, померла,— сказал он весело. Стал он щупать старуху: старуха холодная, не дышит, лицо зелено-красное, глаза открыты, так строго смотрят. Пила струсил старухи, соскочил с полатей, плюнул на печку и убежал на улицу...

— Ишшо загрызет, стерва! — ворчал Пила.

В свою избу Пила вошел весело. Как только он вошел, на него закричала Матрена:

— Што, дьявол!.. Всех нас уморить, што ли, захотел!.. Вон Апроська-то померла!..

Пилу как обухом кто ударил по голове, он рот разинул и тупо смотрел на печку, где сидел Сысойко, бледный и такой сердитый... Жена все ворчала:

— Ишшо не околел ты, черт!.. Другие мрут, а ему и смерти нет!

Пиле горько сделалось. Ударил он жену и полез на печку. На полатях лежала Апроська. Она была такая же, как и две недели тому назад, только не дышала. Пила не верил, что она умерла, стал ее толкать, она не шевелит-

ся... Взвыл Пила, убежал на улицу, забрался в стайку и долго там плакал... В стайке спали Павел и Иван. «Помру ли я?» — спросил сам себя Пила.

— Уйду отсель! уйду!..— закричал он и вышел из стайки. Пила хотел ехать, но ему жалко стало Сысойки, да и что делать с Апроськой? Везти надо ее, опять надо к попу ехать.

Пила вошел в свою избу. Матрена выла на печке. Сысойко дико смотрел на Апроську. Он не плакал, а видно было, что его страшно мучило горе. Он любил Апроську сильно, хотел с ней всегда жить, вот умерли ребята его матери, умерла и мать. Зачем же Апроська померла? Он-то зачем не помер? Дик и зол сделался Сысойко, теперь он походил на собаку, лишившуюся своего детища, он готов был бог знает что сделать, только бы Апроська была жива, готов был помереть, но не знал, как помереть...

Пила так же мучился, как и Сысойко. Он сел с Сысойком на полати и долго смотрел на Апроську, потом вскричал: «Апроська!..» Апроська не двигалась, Пила заревел, заплакал и Сысойко. Долго плакал Пила, да не помог слезами горю. Он опять вышел на улицу, сел на крылечко и стал думать... Сначала ничего он не придумал, все Апроська мучила его; потом ему опротивела своя изба, вся деревня. Пила вскочил как бешеный и сказал сам себе: «Что я за чучело? Что мне жить-то? пойду из Подлипной, наплюю на их всех... Без Апроськи что за жизнь?» Он вошел в избу.

— Сысойко! айда отсель! Пойдем бурлачить!

— Не пойду.— Сысойко еще не верил тому, что Апроська умерла. «А может, она так...» — думал он.

— Э, дура голова! Пойдем! бурлачество — баская штука, богачество получим, а хлебушка эво! ужасти!..

Сысойке не хотелось идти. Пила стал уговаривать его; Сысойко только ругался.

— Ну, и околевай, черт! Я один пойду, ребят с собой возьму.

Пила стал думать, что теперь делать с Апроськой. Матрена ругается за корову, говорит: вези опять, отдай лошадь... «Ну уж теперь с меня он шиш возьмет!» Однако он все-таки решил везти Апроську и мать Сысойки к попу... «Коли просить чего станет, я и к набольшему его пойду... Бает, у меня начальство есть».

На другой день по приезде в Подлипную он принялся делать гроб с Сысойком, Иваном и Павлом. На третий день они уложили в гроб мать Сысойки и Апроську в такой одежде, в какой они умерли. На обеих их были худенькие полушубки, худые лапти. Сысойко надел на руки Апроськи свои рукавицы и положил ей на грудь ковригу хлеба. В этот же день Пила с женой, детьми и Сысойком, положив гроб на Пилины дровни, отправились в село. Гроб был прикрыт досками и обвязан веревкой. На нем сидели Пила и Сысойко. На Сысойкиных дровнях, запряженных в Сысойкову лошадь, ехали Матрена, Павел, Иван и Тюнька.

Дорогой Пила уговаривал Сысойку идти бурлачить. Сысойко ругался и, наконец, понял, что в деревне ему тошно жить, согласился идти с Пилой туда, где хлеба много. Только как же без Апроськи?

— Уж не воротишь. Жалко, а нештó делать,— говорил Пила, вздыхая.

— У, Апроська! стерво ты... леший!..— вскричал со злостию Сысойко. Ему слишком было обидно, что Апроська померла.

Дьячок удивился, когда увидал перед своим домом подлиповцев.

Этот день был теплый, каких в этом краю мало бывает зимой. Солнце грело, с крыши капало, ветру не было. Пила подумал, что лето скоро.

— Гли, Сысойко, солнце-то! — говорил Пила, весело указывая на солнце.— Лето тожно скоро... Ишь как баско.

Сысойку это не порадовало, а возмутило. Он все думал об Апроське.

— А пошто она издохла?.. Пошто? — вскричал Сысойко.

— Пошто? — спросил и Пила, и ему тоже обидно сделалось.

Вошел дьячок:

— Ну, что, братцы?

— Што! Знамо — што...— сказал Пила с сердцем. Он и Сысойко теперь походили на зверей; вокруг них собралось много крестьян, которым Матрена и Павел толковали, как померла Апроська, и которые жалели и умерших и Матрену.

— Кто опять умер? — спросил дьячок.

— Кто? Как бы не ты, жива бы Апроська-то была...— ворчал Пила.

— Ну, полно, Пила... Она теперь покойная...

— Знамо... Зажмурила шары-те. Оттого и померла...

Крестьяне между тем с участием расспрашивали Матрену и Сысойку, отчего умерла Апроська.

— Он у меня корову взял! — сказал Пила, указывая на дьячка.

— Вре?!

— Врать, што ли, стану!

— Это не твою ли он как-тось в город спровадил?

— А чью не то... Взял — да и тю-тю, к набольшему уволок.

Дьячку стыдно сделалось. Он знал, что в подобных случаях крестьяне пристанут за своего брата, изобьют его да еще жалобу напишут.

— Братцы, я купил у него корову!

Пила обругал дьячка.

— Купил ты! купил?

— Врет!.. увел!..— голосила Матрена, Сысойко и Павел.

Крестьяне отошли от Пилы, собрались невдалеке в одну кучку и стали толковать между собой.

— А што, дядя? Дьячок-то вор!..

— Айда к становому!

Крестьяне ушли к становому, Пила и Сысойко с ними же. Дьячок воротился домой; Матрена с детьми осталась на улице.

Крестьяне с полчаса стояли у дома, где жил становой пристав. В это время дьячок послал своего сына с запиской, что крестьяне из Подлиповки — Пила и Сысойко взбунтовали крестьян и хотели избить его. Становой рассвирепел. Вместо того чтобы разобрать дело, он раскричался на мужиков:

— Так-то вы?.. Буянить!.. Да я вас всех перепорю.

— Да мы ништо...

— Молчать! пошли по домам!

Надо заметить, что Пила при появлении станового спрятался за крестьян, Сысойко спрятался за Пилу.

— Кто Пила! кто Сысойко! — закричал становой.

Все струсили. Крестьяне показали на них.

— В чижовку! я вас!.. Я вам задам лупку!

От чижовки и от лупки наших подлиповцев спас священник, шедший в это время к становому.

— Что! жаловаться? — спросил он сердито подлиповцев.

— Батшко, не губи!..— молился Пила. Он думал, что его уведут куда-нибудь на съедение зверям.

— Василий Иваныч, простите его,— сказал священник становому приставу.

— Не для чего эдаких скотов прощать... Ну, да пусть идут.

— Ступайте в церковь, я сейчас буду.— Священник ушел к становому, крестьяне по своим домам, а Пила и Сысойко поехали к церкви. Церковь была отперта сторожем. Поставивши гроб среди церкви, Пила и Сысойко с Павлом и Иваном отправились на кладбище.

— Неужели тут все люди?..— спросил Сысойко.

— А кто не то. А ты помнишь, где отец-то твой лежит?

— Кто ево знает!

— А вон на той стороне,— туда и пойдем копать; а вон тамо ребята.

Пила и Сысойко отгребли снег, потом топорами прорубили неглубокую яму. Эта работа продолжалась с час, до тех пор, пока за ними не прибежал сторож.

В церкви священник и дьячок начинали уже отпевание. Дьячок стоял около священника, на котором была надета ветхая риза. В руках у священника было кадило. В церкви теплилась одна лампада и горели две свечки. Гроб был открыт. Пила и Сысойко стояли около гроба и смотрели на Апроську. Они не молились, а думали; жалко им было и досадно, что Апроська умерла, что ее в землю скоро зароют; а как да старуха-то съест ее?

— Надо бы другой гроб-то! — сказал Сысойко.

— Поздно уж.

Пилу и прежде и теперь одно занимало: зачем это священник какой-то штукой с дымом таким баским машет? Это занимало и детей его и Сысойку.

— Батшко, ты не хлесни Апроську-то,— сказал Пила.

Священник молчал.

— Право, брось! Ишшо вырвется...

Священник стал убеждать Пилу, что он делает нехорошо, что это так законом установлено. Наконец, священ-

ник кончил отпеванье, посыпал трупы землей и велел подлиповцам нести гроб.

С полчаса Пила возился с Сысойком. Сысойко просил еще посмотреть на Апроську, а Пила хочет закрыть гроб и увязать веревкой.

— Пила! я ошшо погляжу!

— Ишшо не нагляделся!

— Пила, я Апроське нос откушу!..

— А это вишь! — Пила показал Сысойке кулак.

— Пра, откушу!

— Не тронь!

— Дай?!

Сысойко расцапался с Пилой. Дьячок и сторож выпроводили подлиповцев из церкви и с двумя крестьянами вытащили гроб на улицу.

На кладбище Пила увязал гроб веревкой, покопал еще яму и с Сысойком и ребятами опустил гроб в яму.

— Пила, дай погляжу!

— Ну уж, развязывать не стану.

— Я завяжу!

Пила толкнул Сысойку и стал засыпать гроб землей. Засыпав землей и снегом яму, Пила и Сысойко воткнули в курган два топора.

— На, Апроська!.. Не жалуйся, што обижали тебя...

Дети Пилы ушли к матери за церковную ограду. Матрена не пошла на кладбище; она плакала у церкви.

Пила и Сысойко с полчаса стояли у кургана. Они большую часть времени молчали, смотрели на топоры; жалко им топоры-то, а может, Апроське понадобятся они. Надо бы с ней положить... «Ведь вот Апроська-то жила-жила, а теперь вот тут...» — говорил Пила и плакал.

— Как бы ее старуха не съела. Пошто же это в землю-то зарыли? — говорил Сысойко.

— Пошто! што с ней, мертвой-то?

— А мы возьмем, уволокем!

— Ну-ко возьми! Уж теперь их нет тута.

— Вре?

— Поп бает, улетели!

— Ах, ватаракша! да мы зарыли-то, не поп?

— Ну, бает, как зароем — и тю-тю...

Вдруг Сысойке послышался стон из земли, он пустился бежать и, запнувшись о пень, упал.

— Эк те бросило! — захохотал Пила.

— Пишшит!.. Ай, пишшит!!— кричал Сысойко.

Пила струсил.

— Кто пишшит? — крикнул он.

Пила услыхал из могилы стон и стук... Пилу морозом обдало, он не мог двинуться с места... Из могилы раздался еще глухой, протяжный стон, похожий на визг. Пила побежал. Добежав до ворот, он закричал: «Сысойко! беда!» Сысойко лежал на своем месте, боясь встать... Ему слышался еще стон. Пила тоже не шел к Сысойку. Оправившись от испуга, он сжал кулаки и стал ворчать: «Попишши ты у меня! Я те ужо... Эк те взяло!.. Сысойко!»

Сысойко опять пустился бежать и, прибежав к Пиле, кричал:

— Ай, беда! пишшит! все пишшит...

— И теперь?

— Теперь...

Сысойке и теперь казалось, что пишшит. Пила уже не слышал стона.

— Кто же пишшит-то! Витер? — спрашивал Пила.

— Апроська.

— Уж молчал бы... Знаешь ты черную немочь.

— Апроська!

— Ну нет, Апроська улетела... Вот так штука!..

Обоих их любопытство брало, что это за штука такая? Идти разве послушать, да боялись они, их трясло.

— Уж не Апроська ли?..— сказал вдруг Пила.

— Я те баял...

— Подти туда!

Сысойко побежал за ограду. Пила пошел за ним.

— Леший! Право... черт! пойдем, поглядим тамока,— уговаривал Сысойку Пила.

Сысойко не шел.

Пила и Сысойко сказали об этом Матрене и ребятам, и те испугались. Сказали они и крестьянам, те сначала не поверили, потом пошли на кладбище, но так как там ничего уже не слыхали, то и обругали Пилу и Сысойку.

Предмет любви Пилы и Сысойки — Апроська — была живая похоронена. Интересно было бы знать, что бы стало с ними тогда, когда бы она пробудилась от летаргии в то время, как Пила ладил веревку обвязывать гроб. Вероятно, они разбежались бы, а может быть, и убили бы ее.

VIII

После зарытия Апроськи в землю и после слышанного Пилой и Сысойкой стона из могилы горе обоих усилилось. Они ходили, как полоумные, взбешенные, и как ни были глупы оба, но у обоих явилось в мозгах сомнение насчет смерти Апроськи. Оба они сильно любили Апроську. Апроська, может, и не померла. Зачем же она целую неделю не шевелилась? Ведь Сысойко безвыходно был у Пилы, сидел около Апроськи, лил слезы горькие, лежал с ней и ругался... Апроська не двигалась, даже глазом не моргнула. Кто же ревел-то? Поблазнил... Стой! Обоих стало мучить то, как же от мертвых запах скверный, лица гадкие; вон мать Сысойки к примеру: лицо зелено-красное, вонь, хоть рот и нос рукавицей затыкай; вон Сысойкины ребята померли, тоже запах и лица другие; а Апроська не переменилась: лицо, как у живой, да

еще теплое, точно спала, и запаху нет. Что бы это значило? А как она да не померла?

— Слышь, Пила, пойдем туда, уволокем Апроську.

Пила молчал. Ему тоже хотелось сходить на кладбище, но он боялся.

— Пойдем! — уговаривал его Сысойко.

Пила и Сысойко решились ночью идти на кладбище.

Наступила ночь. Луна. Морозит. Пила и Сысойко перелезли через кладбищенский плетень, взяли лежащие у церковного крыльца две железные лопаты и пошли к могиле, где лежала Апроська. Они шли молча; молча взяли с кургана топоры и стали отгребать землю. Обоих их трясло, но они, из любви к Апроське, работали что было сил, до того, что их брал пот. Вот и гроб... Пила и Сысойко молчат и молча идут от могилы в сторону... Но Сысойко оказывается храбрее Пилы; он берет топор, рассекает веревку, берет крышку с гроба... Пила в это время спускается к нему,— ему завидно, что Сысойко один с Апроськой.

— Давай потащим Апроську? — говорит Пила, а сам дрожит.

— Давай.— Пила и Сысойко один за голову, другой за ноги подняли Апроську. Апроська молчит.

— Ишь стерво!..— кричал Пила.— Поднимай! — Подняли. Смотрят. Лицо затекло кровью, руки искусаны...

Дрогнули сердца у Пилы и Сысойки; морозом их обдало.

— Померла! — вскричал Сысойко и опустил ноги Апроськи; у Пилы тоже опустились руки. Апроська грохнулась на гроб, около ног Пилы и Сысойко... Они струсили и убежали из ямы.

— Эк ее бросило! — сказал Пила.

Сысойко молчал. Он опять вошел в яму. Пила подошел к яме и смотрел, что делает Сысойко.

Сысойко схватил Апроську за голову и стал смотреть.

— Апроська?! — закричал он. Апроська молчала. Пила сел на наваленную от могилы землю и свесил ноги.

— Запишши, Апроська!..— кричал Сысойко. Апроська молчала.

— Убью! — закричал опять Сысойко.

Наконец, Пила и Сысойко уверились в том, что Апроська умерла. Им сделалось легче. Они по-прежнему зарыли гроб, взяли топоры и ушли с кладбища так же, как и прежде, молча... «Апроська умерла, убилась, задохлась. А я-то пошто живу!» — думали Пила и Сысойко.

— Пила, заруби меня,— сказал Сысойко.

— Э!.. ты заруби.

Оба они думали о смерти; но все-таки обоим им казалось страшно умереть, обоим хотелось еще пожить...

— Поедем, Сысойко!.. Поедем,— говорил Пила.

— Куда к лешим?

— Бурлачить.

— Убей меня!..

— Богачество там... Ну, что в деревне? Апроськи нет. Эх, горе! — Пила заплакал.

Сысойко изругался; в ругани он хотел излить все зло на эту жизнь — на все, чего он не понимал...

— Пойди ты в Подлипную... Ну, что там? — помрем.

— Пойдем, Пила, пойдем, братан... Эх, Пила!!

Горе обоих велико было. Для обоих мир этот казался тяжелым, невыносимым. У них не было отрады. При всей бедности, без Апроськи они думали: как жить теперь?

— Пойдем вместе,— сказал Сысойко.— Веди, а в Подлипную шабаш!

— Уж ты иди, не отставай... Сысойко! умри ты — беда мне...

— Мне тоже!..

До утра оба они не спали. Когда они уснули, то им померещилась Апроська с искусанными руками, и они слышали откуда-то стон. Они спали недолго и, пробудившись, стали звать Матрену, Павла и Ивана в город.

IX

Когда была жива Апроська, Матрене было все равно, что есть у нее дочь; не будь дочери, Матрене было бы тоже все равно; есть человек — ладно, а впрочем, пожалуй, и не надо бы: хлеб лишний идет; только ровно веселее с девкой-то, да и грудью ее Матрена кормила, как кормила и прочих детей. Только в этом и заключалась любовь матери к дочери. Когда умерла Апроська, Матрене жалко стало ее, а почему жалко, она сама не могла понять. Она плакала, что не увидит уже Апроськи, не будет говорить с ней, и сама не знала, чего бы такого попросить у бога, а только со слезами говорила: «Апроська померла!.. Ах, пошто ты померла? Пожила бы ты ошшо чуточку, поглядела бы я ошшо на красно солнышко...» Слова эти были заимствованы Матреной у других женщин, плакавших и причитавших по усопшим, и все-таки они были искренние, задушевные; больше этих слов Матрена ничего не придумала хорошего. Матрене жалко стало Апроськи, а потому ей тоже не хотелось ехать в деревню. Без Апроськи пусто теперь дома. Подумай Матрена об этом при жизни Апроськи, представь себе то, что Апроська, как и все, может умереть, теперь бы ей не так жалко было Апроськи. Но Матрена никак об этом не думала; она хотя и видела умерших женщин, но никак не могла представить себе того, что Апроська может умереть; она не могла до сих пор понять: что это такое делается с людьми, когда умирают, и зачем их зарывают в землю? Матрена даже не вери-

ла, что и она может умереть, а если говорила о своей смерти, так только так себе, зря, и то когда сердилась. Скажи ей кто-нибудь: и ты, Матрена, тоже помрешь и тебя в землю зароют, Матрена тому бы в лицо плюнула и обругала бы...

Когда Пила стал звать Матрену бурлачить, она думала, что бурлачить — баско, и согласилась.

Итак, подлиповцы — Пила с женой и детьми и Сысойко — отправились бурлачить.

X

Подлиповцы приехали в город часу в пятом вечера. Они остановились у содержателя постоялого двора Терентьича. Терентьич знал Пилу, который часто прислуживал ему, и потому пустил подлиповцев даром. Кроме подлиповских лошадей, во дворе была только одна лошадь. Пила достал хозяйского сена, утащил из незапертой стайки овса и стал кормить лошадей. Подлиповцы отправились в избу. В ней было до двадцати мужиков: пермяков, черемисов и вотяков. Половина из них лежали на печке, на полатях и на лавках; половина сидели за большим столом и хлебали что-то вроде щей. В избе не было огня, хотя было очень темно.

— Бог на́ помочь!— сказал Пила.

— Ладно. Ты откедова?— спросили его сидящие за столом.

— Подлипную знаешь?

— Кто те знает? Вячкой или чердынский?

— Чердынский.

— Колдун, ребя!

Пила подумал: «Сделаю я с вами штуку».

— Эк вас сколь! Бурлачить?

— Э!

— А это баба-то тоже?

— Тоже.

— Баб, бают, не берут.

— Ее возьмут... Она килы садит.

Сидевшие за столом вытаращили глаза на Матрену.

— Верьте вы ему, ватаракше... Он вон Апроську уморил!— ворчала Матрена.

— Слышь, беда!.. чурайся! наше место свято!..— шептались мужики.

Пилу манил запах щей, и он подошел к столу.

— Экую ты гомзулю-то взял!.. Смотри, обтрескаешься!— сказал Пила одному мужику, оплетавшему большой ломоть хлеба. Мужик спрятал кусок за пазуху. Четыре мужика вылезли из-за стола, за ними вышли и прочие.

— Экой лешой, и ись-то не дает!

— Шаркни его по башке-то.

— Топором ево!— кричали мужики.

— Садись, Сысойко.— За стол уселись все подлиповцы — Пила, Сысойко, Матрена с Тюнькой, Павел и Иван.

Мужики боялись Пилы и Матрены. Они давно наслышались, что все чердынские крестьяне колдуны, а колдун, по их понятиям, опасный человек, да и не человек, а черт не черт, а что-то особенное: и человеком ходит, и невидимкой делается, с нечистой силой знается, медведем бегает, сорокой летает и проч. и проч... Неспавшие мужики стали смотреть на Пилу и Матрену, сидевшие за столом и вышедшие из-за него стояли у печки и у порога, доедая куски хлеба, и молча смотрели на подлиповцев, ожидая какого-нибудь чуда.

Пила, его семейство и Сысойко принялись доедать лежащий на столе хлеб и налитые в большую чашку скоромные щи.

— А ты наперед заплати деньги, тогда и распоряжайся,— сказала хозяйка и утащила чашку со щами.

— Заплачу,— сказал Пила.

— Заплатишь ты! Сколько ел, а все не платил.

— А ты погляди, кто у те в чашке-то сидит?..

— Кто сидит?..— спросила хозяйка.

— Дай сюды, покажу!— Пила подошел к хозяйке.

— Что ты врешь?

— Ослепла! Гляди, мышь!

— Ах вы, погань экая!..— сказала хозяйка.— Вы хлеб-то весь испоганите.— Она хотела взять хлеб, но Пила сказал ей, что в ковриге лапка чья-то видится. Хозяйка прижалась к печке и стала смотреть на подлиповцев, как они охобачивали хлеб. Щей уж не было. Мужики дивились.

— Ишь, якуня-ваня, што дие́тся!

— Подем!

— Ты учись, научит...

Так толковали мужики.

— А я ишшо не то сделаю,— бахвалился Пила.

— Ой!

— Пойдем, ребя!

— Айда.— Стоявшие мужики ушли.

Хозяйка верила всем предрассудкам и страшно боялась колдунов. Пилу она и прежде считала за колдуна, потому что он хитрил над мужиками и возил с собой какие-то травы, которые и ей давал. Увидев теперь, что его испугались мужики, она тоже струсила. Хотела скликать мужа-хозяина, но в то же время ей хотелось выслужиться и Пиле.

— А ты килы садишь?

— Эво! Тебе, што ли, надо?

— Не мне, а Терентьихе. Проходу мне нет от нее; все говорит: уж какова́ ни будь, да буду я тебе!..

— А много ли дашь?

— Да денег-то нет...

— Кормить станешь?

— Ладно, только сделай килу.

— Уж сделаю!

Мужики с печки, полатей и лежащие на лавках слушали Пилу и переговаривались между собой.

Сытно наелись подлиповцы. Целую ковригу съели.

— Что, Сысойко, наелся?

— Баско! Ошшо бы...

— Нету боле,— сказала хозяйка.

— Ну, таперь спать.— Пила полез на полати.

— Убью! Не ходи...— закричал один мужик.

— А ты гляди: кила у тебя на роже-то!— сказал Пила. Мужик испугался и ушел с полатей, за ним ушли и прочие. Они улеглись на пол. Подлиповцы залезли на полати и расположились спать, не раздеваясь, так же как и прочие мужики.

— Учись, Сысойко! всему научу,— хвастался Пила.

— Ты врешь все.

— Хошь килу?

— Нет.

— То-то... Уж я, брат, што захочу, все сделаю.

— А зачем Апроська померла?..

— Так ты колдун?— спросил один мужик с печи.

— Колдун.

— Глиже! У нас тоже есть колдун: што захочет, так и будет. Баба есть такая, в трубу вылетает.

— А вот эта баба-то — беда!— сказал Пила про Матрену.

— Ой ли?

— Верь ты ему, варнаку!— отплюнулась Матрена.

— А ты молчи!— крикнул на нее Пила.

— Што молчать-то!..— Матрена знала, что Пила не колдун; а впрочем, кто его знает. Пила слишком заврался.

— Ребя, бабы-то нет уж!

— Ой!

— Улетела! А ты молчи!— шепнул Пила Матрене, которая лежала у стены.

Мужики струсили.

— Как улетела?— спросили они, а заглянуть на полати боялись.

— Да она откедова?

— Кто ее знает. Села ко мне на лошадь: вези, говорит...

— А ты бы ее топором, топором, так бы и хлестал.

— Бил — не берет...

— Куды же она улетела?

— А кто ее знат. Она вон к ейной бабе улетела.

— Это к Терентьихе?— спросила хозяйка, дрожащая от страха.

— К ей.

— Слава те, господи!

— А ты зачурайся,— сказал хозяйке один мужик, лежащий на полу.

Подлиповцы стали засыпать. На полатях было так тепло, что подлиповцы ни за что бы не сошли и спали бы долго, долго. Они уснули скоро. Во сне им мерещилась Апроська, и они часто кричали со сна: «Апроська! пишшит!» Мужики, бывшие в избе, долго еще толковали насчет Пилы и рассказывали разные случаи об колдунах, слышанные ими от людей.

— Недавно,— говорил один,— у нас, значит, свадьба была. Баско гуляли. Ладно. Вот и появись колдунья, и запела по-куричьи: съем, бает... Беда! Так и бегает за бабами! Ну, и драло все, а кто на печку залез да кринки на голову и посдевал... Она, будь проклята, и давай кринки на пол кидать, кою бросит, и разобьется... Ужасти!

Мужики крестились и охали.

— Это што,— говорил другой.— Вячки — те лучше ваших чердынских. У нас, братчи, колдун издох. Как ноць, и перевернетца, и побежит, и побежит!.. Привезли его

в черковь, черковный пеун и давай отцытывать, а поп и давай махальничей махать. Махал, махал долго, а колдун и давай зубами цакать... Пеун побег, а поп и хлобысни колдуна-то цитальницей... Колдун и помер...

— У вас што в Вятке-то. У нас лучше есть...

Лежавшим на печке не спалось. Один из них достал огня на лучину; все четверо, лежавшие на печке, заглянули на полати: там все подлиповцы храпят, и Пила тут и Матрена тут.

— А баба-то прилетела!

— Хлобысни бабу-то!

— Ты хлобысни...

Пила в это время проснулся, взглянул... Мужики испугались и слезли с печки... Пила влез на печку и уснул на ней один. Он спал лучше всех.

Подлиповцы пробудились на другой день поздно. Хотелось им еще поспать, да хозяин сказал, что у них одной лошади нет. Пила и Сысойко соскочили, один с печки, другой с полатей, вышли во двор; действительно, не было лошади Пилы с дровнями и двумя топорами.

Пила выругал хозяина, говоря: ты украл мою лошадь. Хозяин тоже выругал Пилу, говоря, что лошадь украл не он, а, наверное, мужики, ушедшие из избы вечером. Пила пошел с Сысойком по городу отыскивать свою лошадь. Но город не Подлипная; в городе скорее заблудишься, нежели отыщешь лошадь. Пила вошел в соседний с постоялым двором двор, там кучер выругал его и пригрозил отправить в полицию; в третьем он натолкнулся на какого-то барина, барин прикрикнул на него... Пила постоял на улице, подумал, куда идти искать? «Пропала лошадь, не найдешь. Вот если бы я колдун был, уж не украли бы лошадь»,— ворчал Пила. Горе его велико было, лошадь — товарищ крестьянина. Куда он теперь денется без лошади, пожалуй и бурлачить нельзя. «Оказия! Ах, воры?.. И смер-

ти-то на вас нет...» Изругался Пила сильно; долго ругался, ругал и Матрену, и Сысойку, и мужиков, и Апроську выругал, а лошади не отыскал.

По дороге шли вчерашние мужики.

— Вон он, колдун-то!— сказали несколько мужиков.

Пила выругал их.

— Ишь он, черт-то! Видно, мяконьких наклали.

Пила опять выругал их.

— Лошадь украли!— крикнул он.

Мужики захохотали. Пила бросился на мужиков, как медведь: одного сшиб с ног, другого повалил на снег, третьему нос разбил... Мужики разбежались от него.

— Смешно, лешие? Лошадь украли, дьяволы!..— ругался Пила.

Пошел он опять на постоялый двор. Там было шесть мужиков. Пила все ругался.

— А ты не ругайся, и мы ругаться-то мастаки... Тебе на што лошадь-то? В бурлаки с лошадями не берут,— не нужно. А ты вот продай эту.— Пила еще хуже заругался. Мужики стали сбивать Сысойку продать лошадь.— Ты то пойми, какая у те лошадь-то: ишь худая, того и гляди издохнет. А ты продай.

— Ты свою заведи да продай,— ворчит Пила.

— Были они, свои-то, да тоже продали.

— Што ты, собака, пристал: продай да продай!

— А посмотри, завтра и этой не будет.

Однако мужики сбили Пилу.

— Ты врешь, что лошадь не надо?— спросил Пила, поняв, что им нечем будет кормить лошадь.

— Што врать-то, дело говорю. Рубля три дадут...

— Экой прыткий... Пять давай!— Пила больше пяти рублей не знал и счету: для него пять рублей уже богачество было.

— Не продам!— сказал Сысойко.

— А оно гоже, Сысойко, толкуют! Лошадь-то того и гляди издохнет; уж моя ходила чуть-чуть, а эта — ишь какая пигалица, самому ошшо надо везти.

Пила и Сысойко решили продать лошадь и тут же продали одному крестьянину за три рубля. Получивши два рубля, Пила и Сысойко поехали с крестьянином в питейную лавочку. У питейной лавочки стояло с пятнадцать мужиков.

— Эй ты, лешой! Где баба-то? — спросил Пилу мужик, спавший в постоялой избе.

— Што баба?.. Вот лошадь украли.

— А я, бает, колдун.

— Поговори ты у меня, шароглазый пес.

Мужики осмеяли Пилу. Пила обругал их.

В питейной лавочке пили водку три мужика. Крестьянин, купивший Сысойкину лошадь, поставил полштофа водки и стал потчевать подлиповцев. Сысойко никогда не пивал еще водки, со стакана его разобрало. В лавочку вошли еще человек шесть. Попойка продолжалась с час; Пила, захмелев, пропоил еще рубль. Мужики стали петь и плясать и кричали до ночи, когда их вытолкали на улицу. Мужики орали песни или рассуждали о бурлачестве.

— Баско бурлачить! — заметил Сысойко, уже пьяный, поддерживаемый Пилой, который тоже пошатывался вперед и назад, направо и налево.

— Баско, — ответил один мужик.

— А што делать-то? — спросил Пила.

— Плыть. Реки эво какие! Большущие, пребольшущие.

— Лиже ты! А близко?

— Далеко. Теперь будет Соликамско-город, потом Усолье-город, Дедюхино...

— Вре!

— Пра. Там Чусова-река, Кама-матушка... Вот дак

река! А там, бают, Волга, супротив той Кама што! А идет она с того свету, и конца ей нету...

— На ней, бают, атаман Ермак,— силища у него у! какая была! он, бают, города брал; никто ему не смог перечить.

— А там люди-то есть же? — спросил Пила.

— Есть, да иные, бают.

— Вот, Сысойко, куда мы подем! Ты мне должен спасибо сказывать, каракуля ты экая...— говорил Пила.

Пила и Сысойко отстали от мужиков, шли кое-как; Пила хвалился тем, что он сила и колдун. Сысойко почти спал и только нукал да зевал. Шаг за шагом ноги обоим изменяли, и они, рассудив, что лучше тут уснуть, улеглись середи дороги и, в первый раз в жизни, забыв о житейских дрязгах, о своем горе, уснули в обнимку. Зато утром они проснулись в месте грязном, месте прохладном и душном, среди незнакомых лиц, мужиков и каких-то «кто их знает каких» людей...

Благодетельная полиция сжалилась над подлиповцами, спавшими среди улицы на дороге, и стащила их в чижовку.

XI

Пила и Сысойко никак не могли понять, где они и что это за люди такие. Помнят они, что были в кабаке, а как сюда забрались? Они даже струсили: уж не на тот ли свет они забрались, уж не бурлачество ли это? Пошел Пила к дверям, двери заперты. Пила удивился. Люди его забавляли: они говорили такие слова, что Пиле смешно стало. Спросил он их: «А што, бурлачество это?» Те осмеяли его. Пила их выругал и улегся опять на пол около Сысойки.

— А баско, Сысойко. Спи знай, ишь сколь людей-то, и люди-то все какие-то востроглазые.— Пила и Сысойко уснули. Однако им не позволили долго нежиться. Пришел

в чижовку квартальный с казаками и растолкал их ногами. Пила и Сысойко испугались и встали.

— Кто вы такие? — крикнул на них квартальный. Пила струсил.

— Мы-те? — спросил он.

— Да что ты, скотина, не отвечаешь?

— А ты знаешь Подлипную?

— Что?

— А ты не кричи! Эк, испугались!..— сказал Пила и пошел к дверям. Квартальный ударил Пилу по лицу. Пила стал ругаться и полез в драку...

— В острог его, каналью! В кандалы заковать! — свирепел квартальный.

— Эк, испугались! Туды тоже и с лапищами лезет!.. Я, бат, восемь медведев убил.

Долго возились с Пилой и Сысойком солдаты; хочется солдатам кандалы надеть на ноги подлиповцев, а они ругаются; одному солдату такую затрещину дал Пила, что тот и свету божьего не взвидел. Солдаты связали им руки, но и тут Сысойко укусил одному солдату руку. Подлиповцев вытолкали из полиции, и два дюжих солдата повели их в острог.

Пила и Сысойко никогда не видали арестантов, не знали, что за острог, не понимали, что такое делается с ними. Впрочем, они струсили. Уж не на смерть ли их ведут? Пила боялся солдат.

— Поштенной, а поштенной, куда это мы? — спросил Пила робко одного солдата.

— Куда? знамо, в острог.

— А это што?

— Не бывал коли,— увидишь. Заворовались, сволочи!

— Поругайся ты, востроглазый!

— Видно плута.

— Право, не ругайся, всего изобью.— Пила рванул

было руки, да руки крепко связаны назад. Пила чувствовал, что он ровно без рук сделался. Он пошел в сторону, за ним пошел и Сысойко.

— Куда! куда! — закричали солдаты.

Пила и Сысойко пустились бежать. Солдаты их догнали и избили. Пила и Сысойко ругались, ругая друг друга.

— Баял я те, не пойду! — ворчал Сысойко.

— Молчи, пучеглазый! не ты бы, дак не пошел бы я.

— А ошшо бает: я колдун! — Сысойко выругал Пилу. Пила плюнул в лицо Сысойки, Сысойко тоже плюнул в лицо Пилы.

— Смирно вы, дьяволы! — закричал на них один солдат.

Пила и в солдата плюнул... Солдат опять избил Пилу. Кое-как солдаты довели подлиповцев до острога и сдали офицеру. Смотритель втолкнул их в большую избу, темную, сырую, холодную и грязную, с удушливым запахом махорки. Руки им развязали.

— Ишь, черт, куда попали! — ворчал Сысойко.

— Молчи, собака, зверь ты эндовый, мохнорылый пес!..

— Издохнешь, пигалица!..

— Тьфу... мохнорылый пес! — Пила плюнул в лицо Сысойки, тот тоже плюнул. Завязалась драка. Их оглушили хохотом тридцать человек арестантов с кандалами, лежащих на нарах и под нарами. Двадцать арестантов окружили подлиповцев и разняли их.

— Я восемь медведев убил, а ты што? — ругался Пила.

— Сам я одново убил... Экой прыткой!

— Ай да молодцы. Ну-ко ишшо? — кричали арестанты.

— Што ишшо? Подойди, пес! — кричал Пила одному арестанту.

— Ты много ли душ-то сгубил?

— За убийство, знамо, попался!

Пила схватил попавшийся под руки ушат и поднял

его в порыве ярости, его облило чем-то вонючим. Все хохотали, даже Сысойко смеялся. Пила бросился на арестантов. Сысойко тоже бросился, но арестанты избили их.

— Не хочу я знаться с вам! — сказал Пила.— Айда, Сысойко.

Пила пошел к двери: двери были заперты. Пила стал стучать в двери и услышал:

— Что стучишь, сволочь? сиди!

— Я те дам — сиди! — Пила и Сысойко что есть мочи стучали в двери кулаками и метлой, валявшейся на полу.

— Храбер! — кричали арестанты.

— Ты, Сысойко, за меня держись... Как отопрут, мы и выскочим, а то съедят здесь. Ишь какие рожи-то...— Сысойко взял в обе руки полы полушубка Пилы. Загремел замок, двери отворились. Пила и Сысойко выскочили. Но их поймали. Смотритель их жестоко отпорол розгами и втолкнул в какую-то темную конурку. Пиле и Сысойке так обидно сделалось от боли и от всего, что было с ними, что каждый из них хотел что-нибудь сделать этим злым людям. Оба они лежали вместе на животах; руки были завязаны на спине. Они не могли даже повернуться; так их избили и истерзали!..

— Сысойко!..— стонал Пила.

— Пила!.. Ох, больно...

— Ну, теперь помрем...— Пила начал ругаться, Сысойко тоже, и оба страшно ругались и грызли рогожу, на которой лежали.

XII

На другой день подлиповцев повели в полицию. Пила и Сысойко шли молча, едва переступая от боли. Лица их были избиты; от ран на них запеклась кровь.

— Эк тебя избили,— сказал жалобно Пила Сысойке.

— Й тебя, бат, тоже: глаза-те у тебя эво какие! а нос-то — беда!..— стонал Сысойко.

Несмотря на боль, обоих забавляли ружья солдатские.

— Што ж это торцыт, Сысойко? Вострое — нож не нож?

— А ты спроси!

— Нет, ты спроси.

— Боюсь, изобьют; ошшо пырнет востреем-то...

Пила не утерпел, спросил-таки солдата:

— А это, поштенный, что у те?

— Што — што?

— А на ружье-то торцыт?

— Это ружье, а это штык.

— Эво, не знают, што ли, ружья-то! Медведев вон ломом бил, а рябков ружьем стрелял, знаю.

Солдаты хохотали:

— Будет вам жару и пару!

— Ошшо?

— И как еще вздерут-то.

— А пошто?

— А за́ то, не ходи пузато. Не делай убийства.

Пила и Сысойко молчали.

В полиции были городничий и судебный следователь.

В присутствие ввели Пилу одного.

Судебному следователю жалко стало Пилу при виде его особы, избитой и худой. Ему сказали только, что есть два важных преступника, которые бежали от стражи и были пойманы. Обстоятельство дела началось с донесения квартального, который писал, что Пила и Сысойко валялись пьяные ночью на улице, были приведены в полицию и там произвели буйство.

— Кто ты такой? — спросил судебный следователь Пилу.

Пила повалился в ноги судебному следователю.

— Не губи, батшко! Вон корову увели, лошадь украли... Апроська померла... Всего избили... Смерть тожно скоро...

Городничий улыбнулся.

— Притворяется, каналья!

— Встань! — сказал следователь. Когда Пила встал, следователь велел развязать Пиле руки.

— Ты говори откровенно: кто ты такой?

— Чердынской.

— Крестьянин?

— Хресьянин.

— Какой деревни?

— Деревни Подлипной, обчество Чудиново.

— Чем занимаешься?

— А что делать-то?.. Хлебушка нет, кору едим... Вон Сысойковы ребята померли, корову за них увели... А там Апроська померла. Сысойкова мать померла, я и пошел бурлачить... Вон Матренка с ребятами у Терентьича на постоялом живет... Пусти, батшко, бурлачить-то! Ослободи!..

— А как зовут тебя?

— Зовут меня Пила.

— Имя и отчество?

— Туто все: Пила родился, Пилой помру... Зовут еще Гаврилком, да это только дразнятся, а Пила настоящее; все так зовут: и поп и Терентьич здешний.

— Зачем ты драться лез?

— Где-ка?

— А как тебя пьяного сюда привели и как потом квартальный стал тебя спрашивать.

— Кто его знает, кто он. Я с Сысойком лежал, а он с архаровцами пришел и давай пинать меня, потом и хлеснул... А я, бат, сам восемь медведев убил, никому не спу-

щу... Больно прыток!.. Ишшо не то ему сделаю... Ишшо вот железки, собака, надел...

— Ты не ругайся, а говори дело.

— Уж как умею... А уж не спущу... Вон архаровцы всего избили, а там еще хлестать стали... Беда! — Пила плакал.

— Он, кажется, не виноват! — сказал следователь городничему.

— Притворяется, собака.

Позвали квартального. Как только вошел квартальный, Пила чуть не бросился на него.

— Вот он, ватаракша! Ну-ко, подойди ко мне! Подойди.

— Молчать! — сказал городничий. Пила присмирел.

— Вы его привели в полицию ночью? — спросил следователь квартального.

— Казаки.

— Он говорит, вы его били.

— Ах он, каналья! Он спал пьяный, я стал будить его и другого, они ругаются. Стал спрашивать, кто они такие, этот разбойник и полез на меня. Я и велел заковать в кандалы и отвести в острог.

— Зачем?

— Да помилуйте, он всех перережет!

— Ах ты, востроглазый черт!.. Я те дам!!! Ты меня бить-то стал, а уж тебе где со мной орудовать. На тебе и надето-то што! Пигалица, право!

— Он вот и теперь ругается. Да он, может быть, беглый какой-нибудь.

— Есть у тебя паспорт? — спросил следователь Пилу.

Пила не понимал.

— Это как?

— Получал ты когда-нибудь паспорт из волостного правления?

— Какой прыткой! Поди-ко, возьми наперед.

— Знаешь ты, что такое паспорт?

— А пошто?

— Тебе не давали никакой бумаги?

— Нету!

Следователь показал Пиле лежащий на столе паспорт.

— Баско! — осклабился Пила.— А ты дай мне! — Пиле понравился кружок с орлом на паспорте.— А это какая птича-то?

— Есть у тебя квитанция в платеже податей?

Пила не понимал этих слов.

— Это опять как? — спросил он.

— Платил ты подати?

— Сам бы взял ошшо, да не дают, вон Христа ради пособираешь да купишь хлебушка. Эк ты!..

Пила сделался развязнее. Следователь понравился ему.

— Вот што, поштенный, дай мне хлебушка Христа ради!.. Вот у меня Сысойко того и гляди помрет; а Матрена с ребятишками померла уж поди.

— На что же ты пьянствовал?

— А я лошадь Сысойкову продал хресьянину; хресьянин и повел нас, меня да Сысойку, в кабак; хресьяна чужие пришли, ну и пили... За лошадь два рубля получил, а как хватился в том месте, где меня впервые избили, и тю-тю денег... Обокрали...

Следователь был человек молодой и понимал дело. Ему жалко было Пилу.

— Сколько тебе лет? — спросил он Пилу.

— Да вот, поди, лето скоро будет... Летом-то баско...

— Неужели ты не знаешь себе лет?

— Прокурат ты, как я погляжу! Помер бы я, да не могу... Вчера вот думал, совсем помру, а нет... Вон Апроська сперва померла... Ах, девка, девка!..— Пила вспомнил, как он видел ее в могиле.

— Кто она тебе?

— Девка, Матрена родила.

Следователю не раз приводилось иметь дело с подобными крестьянами. По своей глупости они ни за что ни про что попадали в беду. Назад тому год, до него, подобных крестьян обвиняли в разных разностях, приговаривали к каторге, и они, терпя наказание и разные муки, шли в далекие страны, сами не зная, что с ними делается, и гибли, как гибнут измученные животные. Прежним следователям никакого не было дела до участи этих бедных крестьян, им только нужно было скорее сдать дело в суд, который решал по тем данным, какие были в деле. Счастье Пилы, что его стал спрашивать не становой и не городничий, а такой следователь, каких у нас еще очень немного.

— Если ты окажешься прав, мы отпустим тебя,— сказал Пиле следователь.

Пила повалился в ноги следователю...

— Батшко! пусти скоре!.. Куды я без Сысойки денусь, и его пусти, ведь вон там парни ошшо.— Пилу вывели в прихожую.

Позвали Сысойку. Сысойко оказался еще глупее Пилы, говорил то же, что и Пила. Он даже не знал своего настоящего имени, а говорил: «Я Сысойко, и все тут».

Позвали Матрену и ребят Пилы. Те рассказали все, что умели и знали, а Матрена выла об Апроське. Хозяин постоялого двора сказал, что он знает Пилу несколько лет, что он вреда не делает, а больно беден. Спросил следователь и арестованных при полиции, те показали, что квартальный первый ударил Пилу. Служащие полиции показали, что квартальный в тот день был пьян. Пилу и Сысойку расковали и оставили при полиции под арестом до тех пор, пока не получат донесения от станового пристава, заведующего Чудиновской волостью о том, есть ли там Пила и Сысойко и какие настоящие их имена.

XIII

В полиции Пила и Сысойко жили с месяц. Жили они в небольшой комнате, называемой чижовкой, грязной, с тремя лавками, двумя небольшими окнами, с решетками и с разбитыми стеклами в рамах, заклеенными в нескольких местах бумагою. Клопов, блох и вшей в ней находилось бесчисленное множество, и эти насекомые то и дело что насыщались кровью своих жертв — нескольких человек, постоянно находящихся в чижовке. Иногда в чижовке было человек десять, иногда и пять. Люди эти были большею частью пьяницы, найденные ночью на улицах полицией, люди, нанесшие обиды разным подобным же им людям, не платящие долгов, уличенные в воровстве и разных преступлениях, которые сидели тут по неделям, а потом или препровождались в острог, или выпускались.

Пиле и Сысойке весело было с этими людьми, но они все-таки им не нравились. Они поняли, что чижовка такое место, куда садят только «негожих людей, да и люди эти все ругаются да говорят такие слова, что ужасти». Первую неделю Пила привыкал к этой праздной жизни и удивлялся, какой это добрый человек носит им хлеб, хоть и не свежий, а все же настоящий, и воду носит. Но когда он узнал от солдат, что он под судом, и хлеб дается ему казенный, или царский, и когда товарищи его надоели ему, он не залюбил эту чижовку и всех людей, которые в ней жили, и постоянно ругался с ними. Первым делом его храбрости в чижовке было то, что он согнал с одной лавки двух женщин и расположился с Сысойком на место их. Это было на второй неделе их заключения. Все они спали на полу, в своей одежде, на своих кулаках, так как постлать и положить под голову нечего было; но привыкши спать на полатях и поняв, что спать на лавке лучше, чем на полу, где постоянно ходят и наступают на них,

Пила во что бы то ни стало задумал отнять одну лавку. Как он ни приступал, его не пускали на лавки и даже гнали, когда он садился. Но вот одна лавка опросталась: лежавшие на ней арестованные были выпущены, и на их месте расположились две молодые женщины, обвинявшиеся в воровстве. Пила узнал, кто эти женщины, и не залюбил их. Когда на другой день потребовали их к допросу, Пила и Сысойко тотчас заняли их место. Заметивши это, другие арестованные, перебивающиеся так же, как и подлиповцы, обиделись.

— Вы, сволочи, зачем легли?

— А што?

— Тут занято, почище вас есть.

— Поговори ты, собака!.. Мы, брат, раньше тебя живем.

Как их ни ругали арестованные, Пила и Сысойко только отругивались, а с места не шли.

Пришли женщины и, увидев, что им, кроме пола, лечь некуда, стали толкать Пилу и Сысойку. Те притворялись спящими. Когда женщины потащили Пилу, Пила ударил одну из них так, что та упала на пол.

— Что ты, собака, дерешься?

— Што? Ну-ко, подойди ошшо? Подойди!..

— Ты наше место занял.

— Я те дам «занял»! Прытка больно!..

В чижовке все хохотали.

— Да пустите, черти! — просили женщины.

Пила лег лицом к стене и ворчал:

— Я те пушшу, ватаракшу. Ты то пойми: за что мы-то сидим?

Женщины стали ласкать Пилу.

— Какой ты хороший! — говорила одна.

— Я те «хороший»... Прытка больно!..

Одна женщина обняла Пилу.

Пила опять ударил ее.

— Сказано, не тронь! и все тут! А с тобой уж не лягу, у меня вон Апроська была, а ты чужая...

. . . .

Подлиповцы каждый день топили печки в полиции и у городничего; случалось, проводили по целому дню в кухне городничего, что-нибудь работая. Дни эти были блаженные для них: они были несколько свободны, их кормили щами, жарким и даже кашей. Сам городничий понял положение Пилы, тем более что жена его, Матрена, просила городничего пустить ее в чижовку жить с ребятами. Они теперь жили у одной нищей за пятнадцать копеек в месяц и собирали ради Христа. Однако городничий не дозволил Матрене жить в каталажке, а погрозил отправить в Подлипную.

Казаков и солдат подлиповцы не любили, но боялись их; те, зная о подлиповцах, обращались с ними добрее, чем с прочими арестованными, и часто шутили. По мнению солдат и казаков, подлиповцы были очень глупы и дики; раздразнить их ничего не стоило: осердившись, подлиповцы лезли драться на того, кто сердил; но не все из солдат были такие; один из них часто отговаривал подлиповцев от ругани и драки. От этого же солдата они узнали, кого надо бояться, кого бить, кому как говорить, кому кланяться, кому нет. Подлиповцы узнали также, что их становой и сельский поп еще не большие лица, а в городе есть выше их: исправник, городничий, судья, а над попом благочинный, и что над этими лицами еще есть старше, они живут в губернском городе, и над теми тоже есть старшие... Подлиповцы только дивились этому и плохо верили. Говорили им также, что этот город не один и земля велика; подлиповцы только смеялись.

В продолжение месяца подлиповцы узнали больше, чем живши до этого времени; например, они узнали, что

есть места лучше и хуже Подлипной, есть люди богатые и такие, которых ни за что обижают и делают с ними не силой, а чем-то иным все, что только захотят, как это было и с ними; в Подлипной они боялись только попа и станового, а здесь многие их обидели — избили и отодрали и теперь никуда не пускают. Узнали, что такое паспорты; узнали также, что так жить, как жили они, нельзя, а нужно идти в другое место. Пиле и Сысойке опротивела не только деревня, село, но даже и город, и они задумали, как выпустят их, тотчас же идти бурлачить и вести себя скромнее.

Наконец, Пилу и Сысойку выпустили из полиции.

— Куда теперь? — спросил Сысойко Пилу.

— Знамо, бурлачить.

— Айда! А мы Пашку да Ваньку возьмем?

— Возьмем.

— И Матрену?

— А не то как? Ну, и времечко! и городок!.. Сколько бед-то.

— Одно к одному и идет. Апроськи нет, пишшит, поди, стерво. Лошади — тю-тю...

— А там, бают, лучше.

— Опять бы беды не было?

Насобирав на дорогу хлеба, купив на собранные деньги два мешка и по две пары лаптей, подлиповцы с Матреной и детьми ее отправились бурлачить. К ним пристали еще четыре крестьянина Чердынского уезда, отправляющиеся бурлачить в третий раз.

XIV

Подлиповцы и прочие крестьяне очень бедно одеты; но последние, по одежде, все-таки несколько богаче первых. На них надеты овчинные полушубки, во многих мес-

тах изодранные, зашитые серыми нитками или дратвой, с заплатами кожи, холста и синей нанки; под полушубком видится поддевка из толстой сермяги, также, вероятно, с заплатами; на головах большие шапки из бараньей шкуры, тоже с заплатами; на ногах новые лапти; мочальными бечевочками обвязаны серые с синими из нанки заплатами штаны, по колени не закрытые ничем; на руках — или небольшие кожаные рукавицы, тоже с заплатами, но они не одни надеты на руки; под ними есть варежки, когда-то связанные из шерсти, а теперь обшитые холстом,— или большие собачьи рукавицы, то есть сшитые из белых собачьих шкур с шерстью. Но Пила и Сысойко одеты еще хуже: на них полушубки из овечьей и телячьей шкур, чуть-чуть прикрывающие колени. Полушубки эти распластаны во многих местах, дыры ничем не зашиты, сквозь них видятся серые изгребные рубахи и грудь, так как у горла нет ни пуговиц, ни крючков, и они опоясаны ниже пупа толстыми веревками. От полушубков болтаются о колени клочки кожи. Шапки у них из телячьих шкур, тоже с дырами, ничем не зашитыми; синие штаны, обвязанные по колени веревками от худых лаптей, тоже с дырами, и сквозь дыры видно тело; лапти худые, из носков выглядывают онучи; рукавиц не было ни у Пилы, ни у Сысойки; их украли в полиции. Матрена была одета в такой же полушубок, как и подлиповцы, и такие же лапти, с тою только разницею, что колени ее прикрывала синяя изгребная рубаха, а на голове худенький платок, подаренный ей в городе. Матрена была опоясана веревкой, и за пазухой ее сидел трехгодовалый Тюнька. На руках Матрены были варежки, такие же, как и у крестьян, шедших с ними. На Павле и Иване не было вовсе шерсти, а сверх худых рубах надеты серые поддевки, ноги и колена прикрывали тряпки, завязанные бечевками от худых лаптей; на руках большие кожаные рукавицы с дырами; на головах шапки

из крепкого войлока. У каждого из наших путешественников болтается на спине по котомке с хлебом, по паре или по две пары лаптей; у Пилы, кроме этого, болтается еще вместе с лаптями худой сапог, найденный им в городе где-то среди дороги, вероятно брошенный по негодности. Для чего взял Пила этот сапог, он и сам не знал, а понравилось. «Баская штука-то! ужо продам!» — говорил он, и действительно продавал в городе этот сапог, только никто его не взял.

Идут наши подлиповцы по большой дороге, ухабистой и частью занесенной снегом; идут по сугробам и ругаются. Мороз как назло щиплет им и щеки, и колени, и пальцы ног и рук, и уши; хорошо еще, что по обеим сторонам лес густой и высокий. Подлиповцы привыкли к холоду, и их только злят проезжие в повозках и с дровами: нужно сворачивать в сторону; а как своротил, так и увяз в снегу по колени, а где и больше. Больше всего доставалось Павлу и Ивану; они в первый раз в жизни шли куда-то далеко; прежде они ездили на лошади, и хоть холодно им было, но все же не вязли в снегу. Зачем это тятька и Сысойко коней продали? — рассуждали они; ехали бы мы, ехали баско; а то иди, иди, конца нет... Они шли два часа, и им показалось это долго, они устали; им щипало пальцы ног и рук, носы забелелись, уши тоже.

— Тятька, помру! — кричал Павел.

— Тятька, не пойду! — кричал Иван.

— Я вам дам! — сказал Пила и обернулся назад. Жалко ему стало ребят.

— Што, щиплет?

— Аяй!

— Три нос-то да уши-те. Три хорошенько рукавицами-те! — кричал один крестьянин, а другой стал тереть Ивану щеки, нос и уши.

— Ой, ноги щиплет! — кричали Иван и Павел.

— Беги! вперед беги, прыгай, тепло будет! — Ребята пустились бежать и стали скакать.

— Ай, мальчонки!

— Брать бы не надо.

— Што им в деревне-то делать; помрут!

— Так оно. Гли, чтобы не замерзли!

— Не околиют.

Но и тут Пила отобрал от Павла рукавицы, и поэтому Павел отнимал у Ивана рукавицы, Иван отнимал их в свою очередь у Павла,— так что эта борьба смешила наших путешественников.

Лучше всего было Тюньке. Ему тепло было на груди матери, а когда ему было холодно, то он плакал и кричал, а мать колотила его. Подлиповцы и товарищи их шли большею частью молча. У всех была какая-то тяжелая, неопределенная дума, какая-то тоска и радость: всех тяготила мысль о прошедшем, радовало будущее, хотелось скорее получить богачество. Пила и Сысойко думали о прошедшем, о своих горестях и о том, что-то будет в бурлачестве. Сколько проехало мимо них повозок с теплыми шубами! Подлиповцы им кланялись, снимая шапки и удивляясь звону колокольчиков, и долго стояли на одном месте, глядя на удаляющуюся повозку. Сидевшие в повозке не только не кланялись им, но и не глядели на них, а если и глядели, то как-то с презрением. Эти господа едва ли трудились думать о бедняках. Они не знали, сколько потерпели горя Пила и Сысойко, не знали, что вся их жизнь была одни лишения, несчастия, горькие слезы; что они не могли оставаться в своей деревне; что им надоела своя родина, и вот они бегут от нужды, идут в мороз куда-то в хорошее место, где будет им лучше, где будет много хлеба, где они будут свободны. Далеко ли им идти, они не знают, а уж коли пошли, пойдут-таки, авось будет хорошо, а назад незачем. Будь хоть там богачество,— они назад

не пойдут: там они лишились Апроськи, коровы, лошадей, там их избили и измучили...

Товарищи Пилы и Сысойки, уже немолодые люди, также ругались и также сетовали на свою горькую, безотрадную жизнь; им также опротивела своя деревня, и они вот уже третью зиму оставляют свои семейства на произвол судьбы. Понятия их были не лучше, чем у подлиповцев. Они разнились от подлиповцев только тем, что были люди уже бывалые, видели города, испытали бурлацкую жизнь,— словом, были люди тертые. Как ни трудна была бурлацкая жизнь, все же она им казалась лучше, чем в своей деревне, где они жили только два месяца в году и скучали о бурлачестве. Теперь они решились не ходить в свои деревни, а жить в городах на время зимы. Только жалко им было своих семейств, но что же делать: баб бурлачить не берут, а сыновья еще маленькие. «Пусть сами идут добывать хлеб»,— говорили они. Пила их ругал за это, но крестьяне были своего убеждения; они уже обурлачились, стали отвыкать от баб и разных удовольствий...

Вот что рассказывали подлиповцам эти крестьяне.

— Спервоначалу баско. Турнут тебя на барку и заставят грести. Гребешь это, гребешь день и ночь, в рубахе гребешь... спотиешь, а барку несет по воде чуть-чуть, потому, значит, железа в ней много. Почнет витер, так барку-то и давай качать туды да сюды... А на Чусовой так наша барка летось о камень хлобыснулась и потонула; один бурлак, молодой парнюга, дай бог ему на том свете баскую жизнь, потонул, родной, так и не искали; бают, после вынырнул, да уж мертвый... Нас было много, робить заставили, значит, вытаскивать железо да барку, как воды меньше стало. Опосля уж на другую барку сели... Плыли долго... Городов много видели... Чудеса. А какие там махины бегают по воде-то, с колесами, да с печкой,

трубища в сажень, а где и больше... Пра! А как сцапает две либо три огромнеющие махины, только без колес, и волокет так прытко и кверху и книзу. Баско... Только трудновато на барке-то, а все же ровно лучше. А теперь хлеб там какой есть: белый — чарский, бают. Все бы ел да ел, дорого только... Какие тамо яблоки да арбузы... Баско!.. Сладко там!

Пила и Сысойко слушали и губы облизывали... Они во всем верили товарищам и от души полюбили их.

— А вы нас туда и ведите!.. На самое такое место...— говорил Пила.

— Уж приведем, спасибо скажешь... А назад уж мы не подем, шабаш!

— И мы не подем.

Наконец, попалась им деревня. Все они разбрелись по домам. Добрые хозяева, расспросив их, куда они идут, пустили их на печки. Подлиповцы и товарищи их, отогревшись на печках, закусив тем, что дали им хозяева, которые были немного позажиточнее подлиповцев, отправились опять в путь.

Подлиповцы и их товарищи пять дней шли, пять ночей спали в деревнях, пять дней мерзли на холоде, оттирали свои щеки рукавицами и бегали по дороге, отогревая ноги, ругали холод, ветры и вьюгу, пять ночей отогревались на печках, а конца все нет. Пилу и Сысойку брало сомнение: куды это они нас ведут? Часто спрашивали крестьян: а скоро придем?

— Да теперь скоро Усолье, там и возьмут нас,— отвечали им крестьяне.

Пила и Сысойко после этого терпеливо стали ждать конца и шли веселее. Деревни здесь попадались чаще, с виду они были лучше чердынских, и людей в них больше на улице, и все что-нибудь да делают: то бревна распиливают, то избу строят, то дрова куда-то да сено везут.

— Вот здесь баско!..— говорил Пила.

— И хлеб-то здесь баскяе,— говорил Сысойко.

Иван и Павел часто мерзли от холода; крепко их пробивало ветром: часто они плакали, садились на дорогу; но Пила колотил их и заставлял идти. Ребята шли и плакали... На шестой день они пришли в Усолье.

XV

Усолье — большое село, расположенное на берегу реки Камы. Оно очень красиво на вид: соляные варницы его рисуются на берегу реки Камы; зимою строятся барки и баржи, весною река оживает; всюду, с отплытием льда, снуют бедные мужики и спешат куда-то; сплавляются барки вниз, пароходы, зимовавшие на Каме, оживают от своего сна, бегут книзу одни или потащат за собою баржи. Цель этих пароходов — дать пищу жителям. По мелководью Камы выше Усолья и большею частью по ненахождению хороших лоцманов, знающих Каму от Усолья до Чердыни, буксирные пароходы ходят от Перми только до Усолья, и то весной и до половины лета. От Перми до Усолья только два пассажирских парохода. Сбыт Усолья — соль, но соль постоянно сплавляется коноводками, большими барками, в которые помещаются десятки тысяч пудов соли и которые большею частию действуют лошадьми. Усолье богатое село; в нем живут зажиточные купцы; остальной люд большею частию пробивается около варниц усольских и дедюхинских, завода, находящегося вблизи от Усолья. Несмотря на то, что и в Соликамске есть варницы и в двенадцати верстах от него стеклянный Ивановский завод, город этот, как и Чердынь, беднее Усолья, потому что сбыт всех материалов из него шлется в Усолье, оттуда идет в Пермь и дальше, большею частию по реке. Соликамские жители всег-

4 Заказ 1356

да закупают в Усолье хлеб и другие необходимые вещи.

Наши подлиповцы рот разинули при виде хороших домиков и особенно варниц: все какие-то столбы стоят, а промеж их, наверху, перекладины; дома большие, с большими лестницами до самой крыши; мужчины и женщины по лестницам какие-то мешки таскают. Везде народ что-нибудь делает: кто дрова, доски, бревна везет; бабы или ругают мужчин, или поют звонкие песни, мужчины щиплют их, они визжат и колотят их кулаками или мешками. Всюду оживление, суетня — иная жизнь, неизвестная доселе нашим подлиповцам... «Эко диво! Вот бы поробить!.. А это што? Ишь домина-то какая, не широкая, да высокая, а вверху штука какая-то: то поднимется, то унырнет...»

— Это, братцы, соль добывают. Вишь ты эту махину-то, што штучка-то укурнется да вынырнет,— это насос, а столбы-те эти с перекладинами тоже штучка... вишь перекладину-то: это желоб. Соль идет в варницу.

— Вре!

— Пра! Только соль-то не такая, какую мы едим, а черная: в варнице,— вишь, где из трубы дым-то идет,— там она варится и делается белой, настоящей солью.

— Лиже ты! Ах, цуцело! Это соль-то, што на хлеб сыплем! — удивлялся Пила.

— Она и есть.

— Вре!

— Ну. А ты сам погляди.

Товарищи повели подлиповцев в насос. Там четыре лошади, погоняемые одним мальчуганом, шли кругом столба с колесами. Колеса двигались, и их много, большие и маленькие. Подлиповцы ничего не понимали, не понимали и товарищи их, как соль добывается. «Лихо, бат, колеса-то ворочаются, смотри, какие большие. Спереди-то ровно ничего: то укурнется, то вынырнет какая-то штучка, а здесь вишь ты!..» — рассуждали товарищи подлиповцев.

Мальчуган погонял лошадей: «Эй вы, черти! Пссю! Я вас!» — и он бил их палкой. Как, должно быть, скучно его занятие погонять лошадей вокруг столба целый день, а может быть, и неделю?.. Павла и Ивана задор взял: им завидно стало. Обоим хотелось так же погонять лошадей, как погонял этот мальчуган. Они пристали к нему, попросту как к обыкновенному деревенскому мальчугану. Мальчуган обругал их. Подлиповцы вышли. Этот мальчуган был тертый калач, испытавший нужду и горе с детства, человек заводский; а наш заводский мальчик не уступит взрослому заводскому человеку, который толковее и злее крестьянина.

Заводский человек больше зол на свою судьбу, чем крестьянин. Крестьянин (я беру государственного) работает на себя, сколько ему хочется; с него берут только подати, спрашивают рекрута, да он должен понравиться, то есть удовлетворить станового. Заводский человек не то. Нанялся он в рабочие (я беру не то время, когда эти люди были крепостными и когда с ними делали, что хотели), назначили ему в месяц, понедельно или поденно плату и говорят: вот тебе работа,— непременно, чтобы она была кончена. Не кончил работник к сроку работу или прогулял несколько дней, то есть почему-нибудь не пришел на работу, ему не дадут жалованья. Если рабочий делает не так и мастера замечают, что он ленится, его прогоняют, не заплатив платы. И так часто заводскому человеку приходится искать работы долго и голодать, потому что он идти в старое место боится; но куда пойдешь? как оставишь свое семейство, которое живет только им одним? И вот он за какую бы то ни было плату готов опять работать на том же заводе: «Пусть делают что хотят, а я буду робить...» Он работает день, на ночь уходит домой в надежде, что получит деньги утром; не утром, а в первом часу приказчик, явившийся посмотреть, работают ли люди,

гонит от себя рабочих; приказчик человек богатый, он чувствует, что он сила, что он все, что он имеет рабов... а этим рабам есть нечего, убиваются их жены, голодают дети!..

Вот почему рабочий человек ко всему относится с ненавистью. Ни работа его не радует, ни свое семейство; он всю жизнь свою мучится; он еще в детстве знает, что он за человек, в детстве начинает привыкать к работе и, наконец, поступив в рабочие, видит угнетение, его бьют... Ушел бы, да боится; он только и умеет дрова рубить, да сено косить, да соль варить — или что-нибудь подобное, к чему он приучился еще с восьми лет.

Все заводские мальчики смышленее крестьянских мальчиков: мальчик шести лет уже бегает по заводским улицам с другими мальчиками, с товарищами, не боится старших; видя то, что делают старшие и что особенно его забавляет и нравится ему, он делает то же самое, один или с товарищами; он так же ругается, как и взрослый, и кого ненавидят старшие, того ненавидит и он.

Товарищи Пилы повели подлиповцев в варницы. В варнице печь огромная; пламя в ней так и разливается; жара нестерпимая, а мужики то и дело бросают в нее большущие поленья... «Диво! Откуда и лесу-то столь добыто? Вот бы тут остаться... тепло было бы, да вон и семь мужиков, сидя в углу на земле, каждый оплетает большие гомзули хлеба, да что-то из большого котла хлебают...»

— Это што? — спросил Пила одного работника, показывая рукой в печь.

— Слеп, што ли?.. Ишь печь!

— Знамо; ровно печь...

— Ну, и не спрашивай... Ково вам надо?

— Да мы так, поглядеть,— сказал один товарищ подлиповцев.

— Эка невидаль! Заставить бы вас поробить, так покаялись бы.

Пила не понимал: что тут трудного? уж не горят ли тут люди? «Вон поп баял, как помрешь, так в огонь, бает, турнут... и никогда, бает, не сгоришь. Вот этот огонь-то и есть...» Ему страшно сделалось.

— Подем, ребя! Ошшо спалят! — говорит Пила товарищам. Товарищи разговаривали с рабочими.

— Уж как трудновато. Не знаем — дрова в кучу складывать, не знаем — бросать в печь,— говорил один из работников.

— Эй вы, черти! что встали? Помогай дрова таскать! — кричал один мужик, бросая в варницу дрова, привезенные на семи лошадях. Подлиповцы с товарищами стали бросать к печке дрова. Подлиповцы охотно работали, их пробирал пот, им хорошо показалось носить дрова и бросать их в кучу.

— Баско, Сысойко!..— говорил Пила осклабляясь.

— Баско...

— Ты говори спасибо: не я, так съели бы тебя тамока...

— Ну их к цорту на кулицки. А мы не пойдем отселева?..

— Коли бурлачество — баско... только лиже печь-то, огнища-то — эво! Спалят ошшо...

— Нет уж, в друго место подем.

— А вы откелева? — спрашивали между тем работники товарищей подлиповцев.

— А чердынские. Знаешь Егорьевскую волость?

— Нет.

— А вы здешние?

— Мы дедюхинские; преж казенные были, теперь вольные стали.

— И подать не платите?

— Кои года выслужили, не платят. А вы куда?

— Бурлачить.

— Плохо. Бурлачить, сказывают, ныне не то, что

прежде. Пароходов много развелось. Вон прежде у нас и заведения такого не слыхали, а нынче пароходов много, ходит, а там, в губернском, пропасть их.

Товарищи подлиповцев повели их в самую варницу. Там, в огромном котле, наподобие ящика в несколько сажен длины и ширины, что-то варилось, только виделась седая пена, которую изредка мешали рабочие, над котлом разные перекладины поделаны да доски; на них не то снег, не то что-то серое, и что-то каплет в котел с досок. В одном месте рабочие бросали лопатками пену на эти доски. В правом углу, при входе, из стены что-то черное уставилось и от него желобок к котлу сделан. Сысойко дернул за кран; потекло черное, густое, не баско пахнет...

— Што же это? — дивился Сысойко.

— Это рассол...

— Не замай! Што трогаешь! — закричали на Сысойку работники и, оттолкнувши его, завернули кран. Пила и Сысойко пристали к рабочим.

— Это что же?

— А вы куда? Сюды нанимаетесь?

— Нет. Мы бурлачить.

— Ишь ты...

— А ты скажи: што это за штука? — спрашивал Пила, указывая на котел.

— Это котел. Вот оттудова, где кран-то, что черное-то бежит, рассол сюда пускаем, он переваривается в котле-то, потому, значит, под котлом-то печь... А это, вверху-то, полати, тут соль делается. Опосля она в амбары сыплется.

— Так это соль-то и есть?

— Она и есть.— Один работник достал с полатей на лопату соли и показал подлиповцам: — Вишь какая!

— А ты дай нам соли-то?

Работник дал. Пила склал ее в мешок, в котором был хлеб.

— Да ты заверни чем-нибудь соль-то, она хлеб испортит.

— А пошто?

— Сырой сделается.

Пила не знал, что делать: неловко, как хлеб испортится; «выбросить разве соль-ту»,— да жалко соли-то попуститься. «Дай лучше съедим». Подлиповцы расположились есть хлеб, посолив его круто солью, до того, что есть вовсе нельзя было. Однако они соль эту ссыпали на другой кусок. Наевшись, подлиповцы еще попросили соли и завязали, каждый по равной части, в концы пол своих полушубков, спросив предварительно: а ничего, не съест соль-та?..

Всему дивились подлиповцы в варнице, все их забавляло; хотелось им остаться тут, да товарищи торопили их к реке. Они пошли. На берегу реки и на льду ее работались барки, полубарки и баржи крестьянами. Подлиповцы в первый раз видели все это.

— Видишь эти штуки? — спросил один товарищ Пилу.

Пила посмотрел: домины не домины, а с окнами, трубищи огромные, посередине ровно колеса.

В реке стояли три парохода.

— Это вот барки; на них мы и поплывем. А эти вот, с колесами-те, то и есть, што мы баяли: больно прытко бегает и волокет за собой много... много...

— Э, да ты прокурат! Ну как на колесах по воде бегать-то? Поди-ко, не знают!..

— А так.

— Ну, не морочь. Вон я сколько раз был на реке Каме, так там колес-то нету, а вон эдакие устроены,— говорил Пила, показывая на одну лодку.

Все подошли к пароходу. Пила и Сысойко сначала боялись подойти.

— Не ходи близко, пырнет! — говорил Пила Сысойке.

— А ты подойди!

— Я подойду.— А сам ни с места. Однако, видя, что товарищи их, Павел и Иван, подошли близко, они спросили товарищей:

— А ничего, подойти-то можно?

— Можно, не укусит...— Пила и Сысойко подошли.

— Он, братцы, железный,— говорил один товарищ.

— Вре?

— Пра! И как бежит — свистит... ужасти!

— Ах, черт! — дивились Пила и Сысойко.— Как же он с колесами? Да и колеса-то какие-то другие, а не наши... Там, поди, лошадь где-нибудь спрятана...

— Это, вишь ты, для виду колесо, а выходит, по-здешнему, перья. Как пустят его, он и почнет загребать и почнет... да так скоро, мигнуть не успеешь.

— А пошто он теперь стоит?

— Пото́: река замерзла. А как пройдет лед, он и побежит.

— А скоро?

— Когда тепло будет.

— А теперь побежит?

— Теперь нельзя, ишь, привязан.— Подлиповцы посмотрели на канат: толстая штука; им в первый раз приводилось видеть подобную вещь. Они захохотали.

— Силен, собака. Ишь, какую веревку-то на него надели... А как он да перегрызет?

— Летом убежит... Летом, бают, он на цепи стоит; якорь такой с цепью бросают в воду.

— Ах, черт! ах, леший!

Долго дивились подлиповцы над пароходом и плохо поняли, что это за штука такая. Потом они пошли к баракам.

— Это што? — спросил Пила, указывая на большое пространство, занимаемое рекой.

— Это река Кама.

— Вре! Да Кама и у нас есть, только далеко, два дня ходу.

— Это все Кама.

— Экая цуцело!..

— Куда бог несет? — спросили их рабочие.

— Бурлачить.

— На Чусовую пробираетесь?

— На Чусовую.

— А вы какие?

— Чердынские.

— Так оно. У нас есть чердынские.

— Кто?

— Да с Прокопьевской волости двое, да из Чудиновской семеро.

— Ишь черти! А у вас нет ли чего робить?

— Теперь нету. А вы на базар ступайте, там много бурлаков. Бают, приказчик какой-то скоро будет нанимать на Чусовую.

— Ладно... А вы почем робите?

— Да рядились по пяти рублев, только опаска есть, как бы не обмишурились. Вон в прошлую зиму робили, робили, а получили только три рубля.

— А эти мальчонки-то с вам?

— С нам.

— Ой, не возьмут?

— Спехаю,— говорил Пила про своих детей. Подлиповцы с товарищами пошли на рынок.

XVI

На рынке они увидели до шестидесяти человек крестьян, одетых очень бедно, с котомками на плечах. Все они ходили по рынку, глазели, очень мало покупали, потому

что у многих не было вовсе денег; многих из них занимали безделицы, удивляло то, что для сельского жителя нисколько не удивительно. По выговору их, по одежде, по обращению заметно, что они не здешние, а пришли откуда-то издалека и чего-то ищут или куда-то идут еще дальше. Над ними смеялись торговки, смеялись над их выговором и непонятливостью даже уличные мальчишки села.

Все эти люди так же бедны, как и подлиповцы: нужда, бедность края, неуменье работать заставили их покинуть свои семьи и идти в бурлаки с таким же убеждением, как шли подлиповцы и их товарищи. Каждому, как видно, опротивела родная сторона, хочется чего-то хорошего, хочется раздолья, хочется хорошо поработать, хорошо поесть, хорошо поспать... Здесь были крестьяне северо-восточной части Вологодской и восточной части Вятской губерний, смежной с Пермскою; там, при всевозможных усилиях, как и в Подлипной, от холода, не добывается хлеба, а сбыта материалов очень мало. И вот они, наслышавшись от других крестьян, что есть хорошее занятие — бурлачество, работа легкая: знай плыви, дают деньги, еда вволю, люди все разные, местности хорошие,— пустились наудалую в путь, бурлачить по Каме, как ближайшей реке от их родины, на которой с давних пор бурлачило несколько десятков тысяч крестьян каждое лето...

После вопросов, куда и откуда, подлиповцы и товарищи их пристали к толпе. Первый день и второй день прошли весело. Подлиповцы, вместе с прочими крестьянами, ходили по селу, дивились над хорошими домами, ходили в варницы, на реку, помогали даром работникам, плутали по селу, отыскивая свои квартиры. Большую часть дня спали в постоялых избах и в избах бедных сельских жителей. На третий день у подлиповцев не было хлеба. Они насобирали хлеба и по нескольку копеек денег у сельских жителей; им начала надоедать эта праздная жизнь; им

хотелось скорее дойти до бурлачества. И вот уже четвертый и пятый день прошел, а они все ходят по селу, крестьян прибывает все более и более... Все эти крестьяне — жители разных деревень и знакомятся друг с другом очень просто: спросили, куда и откуда,— и конец. В друг друге они видят подобного себе человека, знают, кто, куда и зачем идет, знают, что цель у всех одинакова; говорят они друг другу об своих нуждах; сообщают свои понятия о том, что их интересует; едят вместе в домах, где их квартиры; делят пополам хлеб и вместе спят где придется, не разбирая и того, что товарищ не их деревни и кто его знает, хороший он или худой человек. По имени друг друга редко называют. Они знают товарища по лицу, а в имени — что толку: он ему не брат, не родня, а так сошлись, веселее вместе. Обругать и осмеять друг друга тоже ничего не значит; и подерется кто — все как-то веселее, словно шутя: никто не сердится, а напротив, других это забавит. Если у бедного и больного человека нет хлеба, другой товарищ сжалится над ним, отдаст ему излишек, надеясь сам добыть хлеба хоть милостинкой, да и товарищу хорошо от этого: ведь и он может быть без хлеба и ему при случае поможет его товарищ. Если у кого есть деньги и он привык употреблять их на водку, то он один не выпьет, а позовет товарищей, которые ему особенно нравятся или с которыми он живет на квартире. Так у всех этих крестьян были по два и по три хороших товарища, и все они, сойдясь на рынке, были как старые знакомые,— конечно, не снимали шапок и не жали руки, а начинали разговор прямо.

— А ты, поштенный, што рот-то разинул!

— Э! ништо.

— Гли, баба-то как стерелешиват![1]

---

[1] Бежит. *(Примеч. автора.)*

— Эк ее разобрало.— Все хохочут.

— Экой конь-то баской!

— Запречь бы его бревна возить!

— А што, ребя, сдюжит ли он, как запречь его вон дрова в варничи возить?

— А пошто?

— А не сдюжит. Ишь, кака штука-то запряжена, легонькая, махонькая, пигалича...

— Не сдюжит.— Все хохочут.

И все в таком роде.

Пила и Сысойко так свыклись с своими товарищами, что постоянно ходили с ними, ели и спали на одной квартире. С своей стороны, и те не отставали от них, и если у кого-нибудь не было хлеба, то другой товарищ уделял свой излишек бедному.

Но никто так не жил дружно, как Пила с Сысойком, Павел с Иваном. Об отношениях Пилы к Сысойке и наоборот мы знаем. Надо сказать и об детях Пилы. Развитие их началось с тех пор, как отец повел их в город. В деревне ихнему уму не предстояло развития впереди; они бы выросли так же, как и Пила и Сысойко; в городе они увидели других людей, узнали, что там живут разные люди; они видели, как ихнего отца заковали и вели со связанными руками по городу, и, узнав от людей, что это делается только в таких случаях, когда люди убивают и грабят, они поняли, что их отец — плохой человек, что как он ни бахвалится, а есть люди лучше его. С этих пор отец стал казаться им как обыкновенный человек; он и Сысойко казались им даже смешными, и если они шли за ними, так только из привязанности к Пиле и Сысойке, да и куда денешься без них? К тому же они шли куда-то в хорошее место, а что им оставаться здесь или в Подлипной? Видя городских девушек, красивее и опрятнее подлиповских, ребята подумали, что подли-

повские девушки хуже, вот бы с этой жить... Чем дальше шли ребята, тем больше работали их головы. Они бывали во многих деревнях; деревни были лучше Подлипной, в избах тоже и девки лучше. В селе их интересовало и забавляло все, и они старались понять, что это за штука такая? почему здесь так, а в Подлипной и в другом месте иначе? Но что они могли понять, когда и отец и товарищи отца сами не знали, почему это и зачем так. Вот они стали спрашивать сельских жителей, большею частью рабочих; те хотя и с бранью, но растолковывали им. После этого ребята долго толковали между собой и кое-как понимали. Например, они поняли, что рассол добывается посредством лошадей, что у лошадей больше силы, чем у людей, и человеку-мужику без лошадей плохо. Это они узнали так. Встали они против насоса. Насос был в бездействии. Подошли к дверям — лошадей не было. Они попробовали вернуть колесо, но не повернули. В другом месте лошади были в действии, и насос был в действии. Короче сказать, они больше понимали, чем их отец, Сысойко и Матрена, которая решительно ничего не понимала, а только охала. Поняв что-нибудь из слов сельских жителей, они сообщали отцу, который не верил им, и ребята,— после того, как он раз выругал их, когда они сказали ему: тятька! робь лучше здесь, а бурлачить, бают, трудно,— не стали больше говорить ни ему, ни Сысойке, ни Матрене того, что им казалось хорошо и что было бы хорошо и тем. Бурлачество их не манило почему-то, им лучше нравилось жить в селе, но как отстать от отца? «Уж пойдем, там, бают, город баской есть, там останемся...»

Теперь жизнь им казалась лучше, их тянуло на улицу; они поняли, что прежде они хворали от коры, теперь едят хлеб, и потому теперь хорошо. Одно только не хорошо: ноги устают. Братья постоянно были вместе, часто ходили по селу одни, говорили без умолку, спорили, дрались меж-

ду собой и с сельскими ребятишками, которые их очень дразнили, ругали и раззадоривали на драки и которые им весьма не нравились.

— Уж мы туда не подем! — говорил Иван Павлу, показывая рукой в ту сторону, откуда они пришли.

— Пусть тятька идет, а мы нет.

— А Агашки не жалко? — спросил Павел Ивана.

— Ну ее к чертям! Здесь, смотри, девки-то.

— Баские, а там што...

— А ты, Пашка, не отставай от меня.

— Ты не отставай. Вместе лучше.

— Мы с тятькой не подем... и с мамкой не подем.

— Куды подем?.. подем ошшо...

Часто им доставались колотушки от бурлаков за любопытство и за то, что они не давали насобираемого хлеба, которого у них было всегда больше, потому что им меньше отказывали. Они вывертывались от бурлаков и ругали их так же, как и большие. На ругань не обращалось внимания ни отцом, ни прочими бурлаками, так как бранное непечатное словцо было для всех обыкновенным, как в дружеской беседе, так и при удивлении, и как ласка; им выражалась и злость, и досада, и радость. Бранными словами даже ночью бредили спящие бурлаки.

Своего отца Павел и Иван не боялись и не слушались. Скажет он им: «Подите хлеб собирать!» — один из них и говорит: «Поди сам собирай!» Он их обругает, а они ему язык кажут. Он их бить, а они барахтаются.

— Ах, черти! — ворчит Пила.— В меня вы, стервы, уродились, сильные будете...— Пила даже радовался, что ребята его умеют драться, и всегда отнимал у них хлеб с бою, причем, конечно, ребятам больно доставалось.

О Матрене нечего сказать. Она постоянно сидела или лежала на полатях да говорила с хозяйкой, большею частию о подлиповцах и Апроське.

XVII

На пятый день Пила увидел в толпе прибывших вновь крестьян своих однодеревенцев Елкина и Морошина, прозванных по-подлиповски Елкой и Морошкой. Пила обрадовался. До сих пор он редко вспоминал подлиповцев, даже стал забывать Апроську.

— Вот они! — весело вскричал Пила Сысойке.— Ах вы, лешие! бурлачить?

— Бурлачить.

— А пошто?

— Да Пилы нет, што за жизнь,— говорил Морошка.

— А ребята как?

— Баба в городе осталась, и ребята с ней.

— Есть деньги?

— Есть.

— Украл?

— Украл.

— Ах, леший, леший! А со мной-ту что было, ужасти! — Пила начал рассказывать, как его избили, и повел своих однодеревенцев в питейную лавочку.

— Уж мы все знаем,— говорили прибывшие подлиповцы.

— Ну, ошшо не все померли? — спросил Пила Морошку.— А Агашка жива?

— После твоей Апроськи парень да девка Тычинки померли... Агашка ушла с бабкой,— куды-то в дом робить взяли.

— Ишь ты... А поп?

— Што с ним... Да я, почесь, и не видел его.

— А как... сам зарыл?

— Сам.

— Ну, теперь кто там у те?

— Да жена.

— А околиет?

— Пусь.

— Ах, чучело!.. жалости в тебе нет.

— Та таперь кто там? Корчага да Кочеражка? — спросил Сысойко.

— Идти тожно хочут совсем: уйдут, тоже и моя баба с ними.

— А ты бы и взял их! Ну уж и край! Кто же в Подлипной-то останется.

— А собака!..

— Эво! И собаку с собой надо. А дома-то как?

— Дома! Эко диво! што с домами-то?.. Помрут?

Подлиповцы стали ходить вместе с товарищами Пилы и составили особую толпу.

— Мы, ребя, тожно все пойдем. Смотри, не отставать, а што бог даст, все пополам,— усовещивал Пила своих однодеревенцев.

— Уж не бай; ты голова, не нам чета.

Наконец, приехал приказчик из Шайтанского завода за наймом бурлаков. Около Шайтанского и прочих заводов хотя и есть крестьяне, но они считают за лучшее остаться дома, а крестьяне других северных уездов губернии рады за небольшую плату наняться в бурлаки. Бурлакам платят от 8 до 15 рублей за сплав барки от завода до Елабуги и других городов выше Нижнего, откуда металлы сплавляются уже пароходами.

Крестьяне, числом около ста, собрались на рынке. Пришел приказчик. Крестьяне шапки сняли.

— Вы бурлачить?

— Бурлачить.

— Кажите паспорта!

Паспорта были у двадцати человек, преимущественно крестьян Соликамского и Чердынского уездов.

— А у вас есть паспорта? — спросил приказчик остальных.

— Батшко, не губи!.. каки тут еще паспорта?..— вопили крестьяне.

— Беспаспортных мне не надо.

Крестьяне в ноги ему поклонились.

Долго возился с крестьянами приказчик. Не понимают они его. Ему каждый год приводилось возиться с ними, и он все-таки обделывал дело: сам ездил в волости, выправлял паспорта бурлакам и вносил за них деньги. Теперь он заключил со всеми крестьянами контракт; отобрал паспорта, у кого они были, дал паспортным по рублю, а беспаспортным по полтиннику; велел дождаться его, а сам отправился в их волости.

После отъезда приказчика все крестьяне загуляли. Загуляли и Павел с Иваном, которые хотя и были всех моложе, но тоже попали в бурлаки и получили по тридцать копеек денег. Целую неделю кутили бурлаки, до тех пор пока не издержали все деньги. Да и промысловые рабочие то и дело подговаривали простаков на выпивки и угощались на их счет сами. Но когда у бурлаков не стало денег, рабочие два вечера сряду угощали их на свой счет,— за что промысловые рабочие очень понравились бурлакам. Павел и Иван купили себе лапти и валенки, а остальные деньги проели на булках. Одна только Матрена скучала, ее не приняли в бурлаки. Она поступила работницей на варницу и содержала Пилу, Сысойку и детей.

Три с половиной недели бурлаки ждали приказчика. В это время они хотели уйти, но их отговаривали промысловые рабочие тем, что теперь уже нельзя, так как получены ими задатки. Большая часть их работала на пристанях, у барок и у варниц, и только небольшими заработками они пробивались в селе.

Наконец, приехал приказчик. Он пересчитал всех крестьян, записал их снова, показал им паспорта, взятые на полгода, выбрал из них четверых в лоцманы, дал всем, кроме лоцманов, по рублю денег, а лоцманам по три рубля, велел идти в завод. Уладивши все с крестьянами, приказчик уехал.

Приказчиком было нанято еще более ста человек только на самых местах, в селах и деревнях Вятской губернии.

Все крестьяне, накупив по две пары лаптей, по три ковриги хлеба, соли, наелись на ночь сытных щей, крепко уснули, а утром, вставши до свету, закусили крепко на дорогу, увязали плотнее свои котомки, собрались за селом и тронулись в путь.

Матрена долго следила за подлиповцами. Идут они, идут в большой толпе... вон Ванька да Пашка оглядываются и утирают слезы... Не взяли Матрену! заплакала она и ушла в варницу... Один только Тюнька не знает теперь горя: он рано встает с маленькими хозяйскими детьми, и как только встает он да хозяйские дети, и начинается у них беготня да игры. Хорошо еще, что хозяйка, мастерская жена, добрая и есть с кем Тюньке порезвиться, а не будь ни этой хозяйки, ни детей ее, что бы сталось с Тюнькой и Матреной? Как бы она стала работать с ребенком? А работа ее такая: дрова она в варницу таскает да из варниц в амбары соль на плечах по длинной лестнице носит. Трудная работа досталась Матрене!





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

БУРЛАКИ



I

Итак, наши подлиповцы отправились бурлачить с товарищами.

Всех шло сто тридцать один человек. На подлиповцах такая же одежда, в какой они были в Чердыни и в Усолье. На прочих товарищах или такая же одежда, как и у подлиповцев, или разнообразная: тут были полушубки из разных шкур, большею частью распластанные, в лохмотьях, без заплат, или просто изорванные сермяги, поддевки и что-то среднее между сермягой и поддевкой, называемое просто гунькой; у всех разнообразные шапки, хотя повсюду и одинаковые, большие, из шкур или войлочные, наподобие горшка; на руках у каждого рукавицы, или кожаные, или из шкур, или шерстяные; на ногах у каждого лапти. У каждого на спине висит котомка с хлебом, кое у кого с разным тряпьем. Ниже котомки болтаются по паре или по две пары лаптей. Спасибо еще приказчику, который нанял их бурлачить: он не поскупился дать каждому задаток; не дай он денег крестьянам, как бы они пошли в дальний путь без хлеба и лаптей.

Все они шли до сборного места, то есть до завода, целых три недели, и шли, как некогда шли евреи по пустыне Аравийской, с тою только разницей, что это были русские крестьяне, бежавшие от своих семейств. Шли они врассыпную по большим и проселочным дорогам, узким тропкам; плутали по целым дням в незнакомых местностях; ругались, мерзли, дрались и даже раскаивались, что пошли.

Их взялись вести четыре лоцмана, уже несколько лет занимавшихся бурлачеством и знавшие все станции-пристани от Чердыни до Нижнего и от Билимбаевского завода до Перми; но у этих лоцманов не было согласия в выборе дорог: каждый из них жил в разных местах зимой и отправлялся на Чусовую своими дорогами; сошедшись вместе, каждый хотел идти по своей дороге.

Вот, наконец, они согласились; все крестьяне идут за ними. Идут они два часа, едва-едва переступая ногами, не торопясь, разговаривают, поют песни грустные, долгие и тяжелые, а больше молчат. Проезжающие заставляют их сторониться, и кто из ста человек не успел своротить с дороги, того ямщик хлещет витнем. Крестьяне ругаются, хохочут и лезут драться. Одному почтовому ямщику плохо пришлось от них за витень, и крестьяне убили бы его, если бы не вступился почтальон и не разогнал их саблей. Всех забавит звон колокольчиков и шубы проезжающих бар. Они сначала дивятся, потом хохочут. Всем как-то весело, и кто поотстанет от толпы, догоняет ее. Подлиповцы идут особой кучкой. Они увлекаются разговорами товарищей, их хохотом, тешатся над выговором татар и черемисов; собственные несчастия они начали уже забывать.

Но вот дорога делится надвое. Вся ватага стала.

— Кажись, сюда теперь? — спрашивал один лоцман.

— Нет, не сюда, а сюда, — говорит другой лоцман.

— На-кося! Таперь по этой, по левой надо: тут село будет, — говорит третий.

— Эво! Што у те шары-те чем заволокло? Вот как подем по этой, по правой, — тут и будет деревня, три версты и всего-то! — говорит второй лоцман.

— Молчи! Тебе бают — село, а ты баешь — деревня...

— Медведь ты раменской!.. Тебе говорят — деревня... как войдем в нее, и сворачивай налево, — говорит четвертый лоцман.

— Да будьте вы прокляты, лешие! Привычки у вас нет, обычаю... Мы десять годов по эвтой дороге хаживали. Черти вы дьявольские! — ругается второй лоцман.

Остальные лоцманы задумались: а что, если он правду говорит?

— Смотри, не обмишурься... Право, знать, эта дорога-то? — говорит первый лоцман.

Часть бурлаков (бывалые) пристает ко второму лоцману и говорит:

— А, бат, дорога-то налево. Веди! — К ним пристает еще человек тридцать. Пристают и остальные. Начинается брань беспощадная, крик...

— Что, братцы, горло дерете? Коли вы другую дорогу знаете, — пошли... Мы восьмой год ходим, знаем...

— И я восьмой! И я шестой!.. — кричат остальные путеводители.

— Ты веди толком! — кричит Пила.

— А я уйду тожно! — кричит первый лоцман.

— Ну, и иди, черт! што пристал? — кричат бурлаки.

— Ребя! Валяй его!.. бей!..

Первого путеводителя окружает человек сорок. Он старается всех урезонить. Бурлаки не верят. Остальные лоцманы-путеводители идут по левой дороге. За ними идут и

прочие. Попадается им крестьянин с дровами. Он знает, кто эти люди.

— Эй, братан! эта дорога на Чусовую? — спрашивает крестьянина один из лоцманов.

— А вы бурлачить?

— Бурлачить.

— Э! Ступай вкось, там и будет река Яйва.

— Вре! А мы ее не прошли?

— Послезавтра будет.

— Ах ты (следует непечатная брань), да ведь Яйва в Каму бежит?

— А куды не то?.. Кама-то эво што... Вы бы и шли по Каме.

— А ништо, подем по Каме! — говорит один лоцман.

— Ступай. Эдак мы скоре придем; там еще будет Косьва да Усьва, а потом Чусова.

— Ну, и подем.

Тронулись по левой дороге. Пришли в деревню. Ночевали. Утром тронулись в путь по правой дороге. К вечеру пришли в эту же деревню... Ночевали. Утром пошли по левой дороге.

— Ишь ты, леший! — ворчат бурлаки. — Да ведь мы были тутотка?

— Где, в деревне-то?

— Ну!

— Слеп! Деревня-то совсем другая: в той семь домов, а в этой восемь, — говорит один лоцман. Бурлаки верят и не верят. Лоцмана спорят, и все-таки идут вместе все. Наконец, пришли к Яйве. Река не широкая, прикрытая льдом, занесенным снегом.

— А это што? — спрашивает Пила, указывая на пространство, занимаемое рекой.

— Это река, бают, — отвечают ему бурлаки.

— Кама? — спрашивает Пила.

— Нету. Кама вон де, — указывая рукой на север, говорит бурлак. Пила дивится.

Все стоят на берегу реки и спорят, как идти: направо по речке или налево.

— Мы, таперича, как подем налево, и Чусова будет, — говорит один лоцман, — олонись я не был здеся, — добавляет он.

— Ну, это ошшо тово оно... — говорит другой лоцман.

— Вот если бы таперича вскрылась река да барки бы если пошли, ну и узнал бы, в кою сторону путь держать, — говорит первый лоцман. Холодно. Все спускаются на лед; всех продувает ветер. Идут кто направо, кто налево, кто за реку. Все тонут в снегу и ворчат.

— Да вы ладом ведите! По Яйве-то никто не бурлачит, и мы в Яйве-то ни разу не шли, а переходили только, — ворчит один бурлак. Лоцмана ведут всех узенькой дорожкой, попавшейся за рекой. Бурлаки радуются. Пришли в деревню к вечеру. Поели, выспались, утром тронулись в путь. День шли хорошо, пели песни или молчали. К ним пристало несколько зырян.

Увидев кучу бурлаков, зыряне спросили:

— Кыдче мунан?[1]

— Бурлачить! — было ответом. Зыряне пристали.

В толпе были тоже зыряне, и между ними завязался разговор.

— Илыся лок тысь?[2]

— А Ежва, кырныш[3].

Опять попалась река. Бурлаки обрадовались.

— Вот она, Чусова-то!

---

[1] Куда пошли? *(Примеч. автора.)*

[2] Издалека шли? *(Примеч. автора.)*

[3] Река Вычегда, называемая зырянами Ежвой. Кырныш — ругань. *(Примеч. автора.)*

— Вре! Экая махонькая?

— Эта, братцы, не Чусова, а Косьва. Там еще будет Усьва, вот по той мы и пойдем в Чусовую.

Бурлаки успокоились, перешли реку и тихим шагом пошли за своими путеводителями. На третий день после перехода Косьвы вышла ссора.

Все шли они по одной узкой дороге: ладно. Вдруг дорога разделилась на три части. По которой идти? Лоцманы забыли.

Все стоят.

— По этой?

— Нет, по этой.

— Знаешь ты черную немочь! По этой...

Лоцмана дерутся. Их окружают бурлаки.

— Бей ево!.. Вот так!.. ну-ко, ошшо! — слышится со всех сторон.

Один лоцман убежал по левой дорожке. Его пошел догонять другой лоцман. Половина бурлаков идут за этими лоцманами. Два оставшиеся лоцмана уговаривают остальных бурлаков идти за ними.

— Пусть они идут по той! Уж как-то ли заблудятся, эво как! — говорит один лоцман.

— Ну, а ты и веди, коли мастер, а я пойду с ним... — говорит другой лоцман.

— И черт тебя бей! А мы как раз дойдем и по своей...

Бурлаки советуются, как им идти.

— Те, поди, ладно идут, а мы-то как?

— Подем тожно с ним.

Однако лоцманы ведут своих товарищей по той дороге, по которой ушла недавно половина бурлаков. Прошли с версту, а тех бурлаков не видать. Прошли они две дороги, наконец, на третью свернули и пошли.

— Куды же те-то побегли?

— Черти... — ворчат лоцманы.

— Надо бы нам поворотить по той дороге, что впервые попали.

— Кто ево знат... И места все другие, ни разу не был здеся.

— И я тоже.

Вот подошли они к большому полю. Дорогу занесло снегом; ветер сильный, резкий. Бурлаки ругаются и идут по полю, оставляя за собой следы большими зигзагами. Идут они час, все нет конца. «Что за черт?» — ворчат бурлаки. Их обуяла лень... Идти не хочется, а хочется поспать. Останавливается один бурлак, за ним останавливаются все. Садится один на снег, все садятся. Развязывает котомку один, все развязывают свои котомки.

— Подем назад! — кричит один.

— Айда! — кричат двадцать человек.

— Баял, не ходи с ним!.. — ворчит Пила. — А пошто назад-то?

— А пошто? А подем... — было ответом.

— Братцы, пойдемте! ночь, поди, скоро.

Бурлаки боятся ночи.

— А ты веди, пес! — кричит Пила. — Куда ты завел в эку чучу!

— Пырни ево! пырни! — кричат бурлаки на лоцмана.

— Пойдемте! право, скоро конец, за этим полем и конец.

— Помрем! — говорит Пила.

— Не помрем, а река будет. А назад подете, заблудитесь.

— Ну, и подем. Уж много шли, ишшо подем, — говорит Пила. Все идут. Посыпал снег, ветер стих. Снег залепляет глаза, только и видно снег да товарищей, а что кругом товарищей — бог весть.

Бурлаки злятся, смотрят на свою одежду, она в снегу, словно в муке купались. Все устали.

— Ребя, вон лес! — кричит один из толпы. Все повеселели. Бродят около лесу и блуждают. Отыскали дорогу к ночи, спустились под гору и под горой уснули. Закусивши утром, опять идут, дорога опять делится на две дороги. Просто черт знает, что такое.

— Ну уж и времечко! Преж, как подешь, и конец скоро, а теперь сколь исходили... — говорит один лоцман.

— Оттово все, што не так пошли. Говорил, надо трактом идти, а то мало ли дорог-ту! — ворчит другой лоцман.

— Экие лешие, куды завели. Все леса да леса, да горы какие-то. Эвон гора-то, чучела какая! — ворчат бурлаки.

— А мы подем на гору-то? Там, поди, баско! — говорит Сысойко.

— А и поди, попробуй!.. Там таперь видимо-невидимо медведев засело, — замечает Пила.

— Што медведи — волки, поди, стерелешивают... Ужасти! — замечает бурлак.

— А што, бат, здесь, поди, много медведев?

— Столько — беда!

— Вре?

— Видал ономеднись. Стадо целое.

— Вре? И не съели?

Бурлак-хвастун, не бывший никогда в этих местах, улыбается и того больше врет.

— Как хватил колом, вон эдаким, однако, — и издох, другого хватил — побежал, и те побежали.

— Вре?.. Ишь ты!

Разговор идет о медведях, кто сколько на своем веку медведей убил. Всякий старается перебить товарища рассказом; кто врет, кто говорит правду. Больше всех врал Пила.

— Ты вот по-моему сделай, — говорил он. — Одново раза летом иду, знашь, лесом; а лес-то — эво! не здеш-

ний, иное дерево и не охватишь, выше этова, густо... А со мной, знашь, лом был! Ну, иду да собираю грибы... Собирал так-ту, много набрал. Баско! и нашел на медведя, спит... А медведь-то — эво какой! Таких впервой увидел. Вот я, знашь, на цыпочках и побег к нему, и хлоп его по башке... и хлоп!.. И пику не дал!..

— Да он, поди, издохлой какой!

— Издохлой!.. Как бы не так! А пошто я ево хлеснул?..

— Значит, ты слеп был или другое что... может, спугался?

— Ну уж, кто другой спугатся, а я — шабаш!

— Да он, поди, медведь-то, мухомора обтрескался!

— Сказано — убил! — кричит Пила, сердясь.

— Знамо, издохлова.

— Поговори ты, собака!

Бурлаки хохочут и дразнят Пилу:

— Знамо, издохлова медведя убил.

— А што, если таперь медведи прибегут?

— Сюды-то?

— Ну... съедят нас али нет?

— Ну, таперь шабаш. Нас-то эво сколь. Как закричим и прогоним, и черт его не догонит...

— И топоров-то ни у кого нет...

— А мы закричим. Побежит...

Пришли они в деревню. В деревне сказали им, что они не в ту сторону идут к Чусовой. Пошли опять бурлаки назад отыскивать настоящий путь. Опять сбились с дороги. На другой день встретились с толпой других бурлаков.

— Вот они, лешие! — сказали обрадованные наши бурлаки.

— Это не те, другие.

— И то.

— А вы откедова?

— Вячки.

— Вячки ребята хвачки, семеро одново не бояча! — сострил один молодой бывалый бурлак.

Эти бурлаки знали дорогу лучше наших бурлаков, и все скоро добрались до Чусовой.

II

Река Чусовая была уже оживлена в это время. В нескольких местах, на льду и на низких берегах ее, на полях, строились барки и полубарки; воздух оглашался стуком топоров, криком крестьян. Подлиповцы с товарищами пошли берегом. Здесь идти им было весело: везде народ, есть с кем и слово перемолвить, есть кого и спросить, куда идти и далеко ли еще, и народ такой добрый. Река в этом месте узка; по обеим сторонам ее или высокие крутые берега, с нависшими деревьями и скалами, или с одной стороны крутой берег — гора, а с другой — низина, поле. В местах, где крутые берега с обеих сторон, было мрачно и страшно. Бывалые бурлаки рассказывали разные ужасы и страхи.

— Вишь, эта гора-то какая, матушка! А бед от нее много бывает...

Вот она теперь ровно впереди, а как подем, она углом будет, ровно кто топором обрубил... Тут беда баркам. Как поплывет это барка и хлобыснется о гору, так ее и шарахнет, а место — беда, бают, дна нету...

— Бают, тут сидит кто-то. Черт не черт, а уж больно сердится. Бают, у него в лапах-то стресоглазка.

— Что сидит! Коли сидел бы — словили; нынче, бают, начальство строго. Вот таперича штуки понаделали, штобы нам ловко было плыть. А без эвтих штук беда была, потому река уж такая бурливая, да камней в ней много, — говорил один лоцман.

— Экая гора-то! Ах ты, какая высь! — дивятся бурлаки.

— Вот где мы идем! — говорит весело Пила. — Эк баско! А там, поди, ишшо лучше.

В этих местах им приходилось идти даже ночью, потому что не было не только что деревень, даже людей, кроме их, и ни одной барки. Здесь им казалось страшно: они боялись не медведей, а чего-то иного. Впереди, позади — кругом все горы, а вверху небо черное и звезд не видать.

— Ребята, тихонько иди! Смотри, полонья, — говорил кто-нибудь.

— Да мы бы спать.

— Ну нет. Смотри, какие богародни стоят вон там. Коева дни такие же были...

В левой стороне видится что-то белое, большое такое. Немного выше — не то церковь, не то кто его знает, что такое. И таких видов много. Бурлаки боятся подойти. «Убьет!» — говорят они и делают от таких мест большие круги.

— Боязно, братцы! Теперь-то еще што, а преже, бают, ужасти бывали. Вон, сказывают, жил здесь Ермак атаман-разбойник, людей убивал, беда!.. Он, сказывают, Сибирь в полон взял, — рассказывал лоцман.

— Все один?

— У него сила была огромнеющая. Люду сколь было, все разбойники...

— А он таперь где?

— Помер, сказывают... Сказывают, утонул.

— Вре! А он, поди, спрятался там на горе-то?

— Сказывают, потонул! У него, слышь, зипуна-то не было, а он железо носил.

— Пра?! Вот дак сила!.. Как хлобыснет, и помрешь?

— Ну уж, он сидит, поди, теперь, смотрит шарами-то.

Это, смотри, не он ли — экой высокой да белой, ишь как усторился!..[1]

— Это дерево, а то вон камень выдался.

— Ну уж, не ври, это он... Подем поглядим?

— Ну-ко, поди, он те задаст! Как пырнет камнем-то... — Бурлаки дали круг. И долго толковали бурлаки об Ермаке, не зная его, а только наслышавшись о нем от бурлаков же.

Наконец, кончился их путь. Они пришли к заводу.

III

На берегу было множество крестьян: кто пилил бревна, кто рубил, кто строгал, кто гвозди и скобки вбивал; достраивались барки, коломенки и полубарки. Подлиповцев и прочих бурлаков сосчитали, поверили и выдали им по десяти копеек денег. Купили они хлеба, надели новые лапти, взяли господские топоры, железные лопаты и прочие необходимые инструменты для скорой работы и стали работать.

Всюду работа кипела. Каждый человек что-нибудь да делал, и если кто не умел топором, то гвозди вколачивал, снег отскребал или доски таскал. Кажется, барку нехитро сделать, а нашим бурлакам больно мудреною казалась эта штука. Они не могли надивиться, как это такая штука состроена? С которой стороны ни подойди, везде гладко, только железки какие-то вбиты, и вся из досок сделана да бревен. «Вон у нас избенки-те не так делаютча, как хошь, так и перевернешь бревно и приладишь, а тут все инако. И куда экая чучела? дом не дом, а кто ее знает, куда она годна?.. Дай мне — не возьму. Пра, не возьму!..»

---

[1] Долго и строго смотрит на один предмет. *(Примеч. автора.)*

На бурлаков кричали мастера.

— Что стоишь: робь! Деньги только даром берете, разбойники!

Бурлак почешет один бок, спину и пойдет с топором к барке. Что ему делать? Вот он видит, лежит доска. Баская доска-то, да верно робить велят, и бурлак начинает рубить доску без цели, а так, думая, что и он робит.

— Пошто ты доску-то рубишь, пошто? Я тебе!.. — кричит на бурлака мастер или работник.

Бурлак отходит от доски и глядит на прочих.

— Что стал? робь!

— Да што робить-то?

— Што! Поди обтеши бревно... У, лентяи! скоты! — и т. д. И пойдет бурлак рубить бревно и изрубит его так, что оно на дрова годится.

— Ах вы, бестолочь! Я вас!.. Поди притяни доску.

Один бурлак не совладает,— он и взять не умеет доску, с которого конца ее приложить; вот и возьмутся человек шесть-семь держать доску.

— Ладь, ладь! Што стали!

Бурлаки прилаживают.

— Не так!.. Сюды!!

Бурлаки смотрят на доску. Доску берут еще человек пять. Доску приладили.

— Напри брюхом!

Наперли все разом — и так сильно, что пот их пробирает, и им баско кажется.

Так и кипит работа. Все бьются до поту и не могут понять, что они такое робят и к чему эдакая работа, больно уж баская да чудная.

Работают они каждый день, бахвалятся, что и они робить мастера, а не понимают своей работы. Чувствовать им нечего: им или баско, или худо; об своих деревнях они

забыли, с людьми хорошо, да и чувствовать-то некогда: то рубить, то скоблить, то колотить... Встал рано, есть хочется — чувство, поробил, есть хочется — чувство, спать хочется — чувство.

О Пиле и Сысойке сказать особенно нечего. Они точно такие же были, а пожалуй, и хуже. Они теперь блаженствовали. У маленьких подлиповцев, Павла и Ивана, было больше способностей, чем у старших. Они, конечно, не могли сделать больше взрослого, окрепшего мужчины, но понимали, как и к чему такая-то вещь следует и как, что и для чего делается. Занятие их было обделывать поносную, похожую на мачту, или вколачивать скобки. Эта работа им так казалась хорошей, что они, если ее не было в одном месте, шли в другое и там отгоняли рабочих от не своего дела.

Теперь отец для Павла и Ивана был все равно, что и прочие бурлаки. Они теперь никого не боялись, и старших у них не было.

— Пашка! Они все свиньи,— говорил Иван.

— Все. Они робить не умеют.

— И тятька свинья!

— И Сысойко свинья... А мы свиньи?

— Мы-то?.. А пошто?

Немного помолчав, они опять спрашивают друг друга, свиньи они или нет; кажется, свиньи, а ровно и нет: «Свиньи-то эво какие! А мы воно какие».

Откуда забралась в их головы такая мысль, они сами понять не могли; слышали только, что приказчик ругал как-то бурлаков свиньями...

С бурлаками маленькое заводское начальство обращалось очень грубо; часто обделивало деньгами, так что многие голодали. У него, конечно, свои интересы, а над бедным бурлаком что хочешь делай — смолчит или изругает, а жаловаться не пойдет, да и некому...

IV

Настало тепло. Солнышко греет; снег с каждым днем тает и тает; с гор бегут в реку ручьи, на вершинах видится бурая земля. Барки уже сделаны, а бурлаки все еще работают: кто весло делает, кто конопатит барки и полубарки, кто так себе рубит бревно; работа кипит везде; целые две тысячи бурлаков копошатся на берегу у барок, на барках, на льду, в рубахах, дырявых и со множеством заплат; с иных пот каплет.

Наступает пора еды, бурлаки садятся кучками на берег или на обрубки бревен, на сломанные доски, едят хлеб, прихлебывая щей с капустой и дрянной говядиной, кто в шапках, кто без шапок. Солнышко так и греет их, оно освещает загрубелые, желтые лица бурлаков, и вообще как-то приветливо. В кучках сидят преимущественно люди равных названий: татары с татарами, черемисы с черемисами, подлиповцы с подлиповцами и т. д., так что воздух оглашается разными наречиями; лепечут бойко татары и черемисы, пришепетывают зыряне, кричат пермяки, выговаривая: поце? зацем? цуца и т. д. За обедом все кажутся веселы: каждому, утомленному работой, любо, что солнышко светит и греет баско, и он долго-долго смотрит на солнышко, до тех пор, пока не заболят глаза, и думает какую-то думу... Славное солнышко! пошто оно не каждый день так светит? когда и вовсе его нет, а когда покажется, да и спрячется, чучело!.. Поевши, бурлаки опять принимаются за работу, но уже ленивее утреннего: хочется полежать. Вечером все собираются на барки, сидят кучками и толкуют больше о бурлачестве; сидят долго, думают, скоро ли они перестанут робить; когда будет такая пора, когда они все так будут сидеть... Потом начинают петь свои песни, каждый на своем языке, и поют они долго-долго, не понимая сами смысла песни, а хорошо

им кажется, и сердце ноет, кого-то жаль, хочется чего-то... Тут есть и музыканты: те разгоняют свою тоску, играя на гармониках и балалайках какие-то веселые песни. Но и тут невесело: поиграет, поиграет бурлак, отдаст инструмент другому, а сам пристанет к другим, и сам поет с ними. Одни только татары да зыряне какие-то чудные: они, как кончат работу, и ложатся спать, как будто им не нравится общество остальных людей. Днем они иногда поют поодиночке или голосов в шесть, так над ними бурлаки смеются — больно уж забавно поют, талалакают на своем языке. Умаявшись, надравши горла, бурлаки идут спать в пустые барки; положив под голову котомку с имуществом — чашкой, ложкой, лаптями,— бурлак растягивается на полу; и как лег, так и уснул...

Становилось все теплее и теплее. Снег почти весь стаял. Лед покрылся водой. Барки уже совсем отстроены. Стали прибирать бревна, доски, очищали берег, сдвигали коломенки, барки и полубарки ближе к берегу, стали грузить их железом и чугуном. Воздух наполнился криком, руганью, стуком, треском, звуком от железа; бурлаки суетились, бегали, тащили полосы и листы железные, кряхтели, потели... На них кричали приказчики, лоцманы, показывая, куда что нужно класть. Наконец, барки, коломенки и полубарки наполнены, поносные весла, канаты, шестики, доски, бревна и разные разности положены на коломенки, барки и полубарки, бурлаков распределили на барки, кого до Елабуги, кого до Сарапула, кого до Волги, кого до Саратова. Бурлакам до Елабуги назначили восемь рублей, до Сарапула девять, до Волги десять, до Саратова четырнадцать за сплав. Всем заказано быть наготове. На каждой барке было по одному и по два лоцмана, по два водолива. Каждому было наказано, что делать, где стоять. Делать нечего, а бурлаки все что-нибудь да делают: то поносную поте-

шет топором да пообрубит весло, то увидит на боку барки дыру, выстрогает дощечку, прибьет и законопатит, а то еще дранку на скобки прибьет. И сколько на этих барках заплат! Хотя они и новые, а все как-то кстати приладилось: и сами они в заплатах, и рабочие на них тоже с заплатами носят одежду. Барки приладились, нумера на них написали, первую букву завода на корме выжгли, воткнули в столб на носу палочку с маленьким флагом. Среди коломенок и барок, точно барыни какие, красуются три большие коломенки-караванки с мачтами, с разноцветными кружками на верху мачт и с флагами, на которых красуется название завода. Бурлаки большею частию отдыхают, поют песни, едят и поглядывают на другие барки и в особенности на караванки, на коих, сказывают, поплывут набольшие, кои бурлаков приняли, да, бают, ошшо палить станут. Бурлаки получили по полтора рубля денег, ходят по заводу, покупают хлеба, мяса, больше луку свежего; несколько человек купили балалайки. В барках и на берегу варят в больших котлах говядину, брюшину, баранину и едят дружно. Накопивши рубля три денег, покупают в заводе у рабочих чугунки, сковородники, утюги и разные вещи очень дешево и тащят в барки. Даже собирают бросовое железо, валяющиеся гвозди, скобки — все пригодится, может быть, кто и купит.

Подлиповцы торжествовали. Они никогда не живали в таком большом обществе людей своей братии и друг другу сообщали свои чувства.

— Вот, значит, я сила. Не я бы, так што было бы с вами?— говорил Пила своим товарищам.

— Уже што говорить! — откликались Пиле товарищи.

— Ошшо не то сделаю.

— Все бы Апроську надо,— говорил Сысойко печально.

— Надо бы...— И Пила задумывается.

— А пошто здесь баб нету? — спрашивают другие подлиповцы.

— А кто их знат!.. Да што бабам-то делать?.. все сробили.

Все они ждали той поры, когда они поплывут, и говорили об этом предмете, каждый по своему разуму.

— Вот теперь как барка-то стоит и зашевелится, побежит, бают, и не догонишь; а мы ее пехать будем весломту, — рассуждает Пила.

— А куда побежим?

— Куда... знамо, куда...— А куда — Пила не может объяснить.

— Как же мы теперь побежим? Смотри, сколь железа-то накладено, а нас-то сколь?..— спрашивает Сысойко.

— Уж побежим.

— Да теперь барку-то не сдвинешь. Поди, лошадь запрегут?

— Бают, водой поташшит.

— Экой пырткой!.. А как да нас запрегут?..

— Толкуй с дураком!

Каждый вечер был каким-то праздником на барках: выпившие водки плясали, тысячи бурлаков пели, в разных местах кричали, где-нибудь несколько бурлаков все еще рубят что-то. Все это веселит подлиповцев.

«Надо бы Матренку взять. Вот бы поглядела, курва!» — думает Пила и говорит об этом Сысойке. Сысойко вздыхает об Апроське, потом плюет и говорит:

— Ну их к лешим!

— Ну уж, мы теперь назад не пойдем,— говорит Пила.

— Так и будем робить,— соглашается с Пилой Сысойко.

Многие бурлаки курят махорку из глиняных трубок с коротенькими чубуками.

Пила тоже завел трубку и постоянно курит махорку с Сысойком. Сначала их тошнило, а потом они втянулись. Для чего они курили, не знали, а так завидно стало: прочие бурлаки курят, да и баско, веселее ровно, как покуришь.

V

От берегов отъело лед, и он готов тронуться, как только прибудет вода. Барки прикрепили канатами за сваи, вбитые в землю. Вот пустили из заводского пруда воду; вода с силой вырвалась из своего заключения, быстро большою массою хлынула из плотины и пошла катать: все, что было на пути, неслось водой. Вот бросилась вода в реку, сначала покрыла лед, потом лед поднялся, треснул, заколыхался... Вода все больше и больше прибывает, а лед то и дело ломает, вертит, словно в омуте. Бурлаки стоят с разинутыми ртами на барках, на берегу тысячи заводчан... С берегу слышны крики.

— Тронулся... тронулся! — Многие бросали в реку медные монеты.

Но лед только кружится, чернеет.

— Пошел, пошел! — кричит народ.

Действительно, река на большое пространство очистилась. Лед впереди все более и более напирал на берега, трещал, ломался и наводил на бурлаков ужас до того, что некоторые из них крестились. Барки покачивало.

— Пошла Чусовая! пошла Христовая...— кричит народ и кидает в нее грошики.

— Нет ли у те копейки? — спрашивает девица свою подругу.

Подруга дает ей копейку, она кидает ее в реку и что-то шепчет.

По местному понятию, при вскрытии реки нужно подарить ее для того, чтобы не утонуть в ней.

Ни одного бурлака не было такого, который бы не радовался в это время. Все были заняты вскрытием реки, как точно дождались светлого праздника. Река шумела, издали слышался треск и какой-то гул, бурлаки кричали:

— Смотри, как льдину-то шарахнуло!

— Гли, што диётся! эк ее раскололо!..

— Смотри, шитик тащит!

— Зевай! Лови поносную!.. Черти!

— Я вас, я вас! Што глазеете!.. Пехай льдину, пехай!

С этого дня началась работа бурлацкая.

Вода все больше и больше прибывала. Мало-помалу вода подходила к баркам, и на третий день все барки стояли в воде. Крик, беготня, стукотня не умолкали.

— Спехивай барки! спехивай! Что стали? — кричали лоцманы.

Бурлаки берутся за шесты.

— Не так, с этого конца!

— Канат опусти!

— Вяжи... Заматывай, дьявол!.. Подай чалку!

Барки подвигались все ближе и ближе к реке и, наконец, были уже в ней.

— Сто-ой! Ах вы, лешие!.. Брось чалку на энту барку!

— Цепи́!.. што рот-то разинул!.. Да подай ты, леший, веревку!

Бурлаки метались на барках и на берегу. Все из рук валилось.

Подлиповцы были на берегу. Их очень удивило, что барки так скоро попали в реку, и удивлял переход от льда к воде. Все был лед, а теперь — на́ вот! Ишь, сколь воды-то!..

В каждой барке была уже вода.

— Откачивай воду! живо! — кричат лоцманы в одном месте.

— Чини барку! — кричат в другом месте.

Павел и Иван назначены в водоливы. Стоят они в барке друг против друга и большим черпаком, привязанным веревкой за потолок барки (палубу), помахивают, как очепом, и выливают им воду в отверстия, сделанные на боках барки.

Лед шел уже меньше. Бурлаки долго дивились по вечерам: куда это лед идет? И порешили на том, что идет куда-то в море-окиян. Сверху стали приплывать барки все больше и больше. Теперь было уже до ста барок, и на каждой от пятидесяти до восьмидесяти человек бурлаков.

Через три дня, как прошел лед, бурлакам опять нечего делать. Большая часть лежала на барках, суша онучки на солнышке, или ходили в завод за хлебом. Все чего-то ждали, чего-то боялись, хотели скорее плыть, рассказывали разные страхи. Сысойко и Пила с детьми попали на коломенку. Эта коломенка, как и другие коломенки, построена из соснового леса, имела плоское дно, которое к корме и носу постепенно суживалось, и имела палубу.

Пила и Сысойко сменяли Павла и Ивана, когда им нечего было делать или надоедало лежать. Была ли то привязанность к ребятам, жалость к ним или желание поробить — решать не берусь. Только Пила сильно начинал надоедать лоцману своими услугами. Скажет лоцман бурлакам: «Подтяните поносную!» — Пила летит со всех ног к поносной, Сысойко тоже за ним, и примутся оба за поносную. Лоцман видит, как они и взяться-то не умеют как следует,— обругает их. Пила спрашивает: «А ты скажи, как?..» Велит лоцман какому-нибудь бурлаку сбегать на другую барку зачем-нибудь, Пила опять бежит от работы.

— Ты куды! Ты знай свое дело! — говорит лоцман.

— Сделаю то и то...— говорит Пила и идет на другую барку.

Лежит лоцман в коломенке на железе и думает что-то, смотря на ребят, откачивающих воду. Пила и Сысойко гонят ребят.

— Подь, чучело! И тут робить не умеешь.

— Вот, умеешь!.. Пусти! — кричит Иван.

— Дурень, подь побегай...— говорит Пила Ивану. А ребятам давно хочется погулять.

— Не трог! Што пристал к ним? Знай свое дело,— облает Пилу лоцман.

— Экой ты, Терентьич! Мальчонкам-то трудно ведь.

— Мало ли что! взялся за гуж, будь дюж.

— Да парни-то родные.

— Мало ли что родные. Знаем мы родных-то,— кто с борка, кто с веретейки...

Пила и Сысойко откачивают воду. Покачают, покачают, спины заболят, сядут и ждут, чтобы скорее лоцман ушел и им бы лечь поспать

— Качай, што стали!

— Да мы так...

— Я те дам — так!..

Этот лоцман заводский человек и уже четырнадцатый год бурлачит по Чусовой и Каме, лоцманом служит шестой год и знает все опасные места на реках, за что и получает хорошее жалованье.

Лоцман на барке или на коломенке — глава; без него ничего не поделаешь. Лоцман отвечает за целость барки, казенного имущества, здоровье людей,— одним словом, он должен в целости сдать то, что принял. Поэтому не удивительно, что лоцман обращается со всеми, как ему вздумается.

Вот к этому-то человеку и старался втереться Пила, понравиться, для того чтобы ему лучше было. Он понял, что все его товарищи бурлаки — такие же люди, как и он, что от них ничего не получишь хорошего, а еще наживешь

худа, пожалуй, лоцман возьмет да и прогонит, как прогнал шестерых бурлаков за то, что они стащили ночью с барки две полосы железа.

Лоцман же, бывши сам бедным бурлаком, всех считал равными себе, знал нужду каждого, не налегал ни на кого слишком работою и требовал только, чтобы все исполняли свое дело как следует. Одно только в нем было скверно: зная, как и что сделать, он хотел, чтобы все так делали и делали живо.

Чтобы больше втереться к лоцману, Пила стал ему наговаривать на бурлаков.

И действительно, лоцман по вечерам сидел с подлиповцами, расспрашивал их об родине и сам рассказывал им свои делишки.

— Вот ты пошел теперь бурлачить, и ладно. Города посмотришь разные, и жизнь-то лучше будет. Я, брат, тоже прежде мыкался так-ту, да поправился. Трудно было, зато теперь любезно поживаю: в заводе баба, летом весело.

Пила слушал рот разиня.

— Как походишь годов десяток, и сам будешь лоцманом.

— А теперь нельзя?

— Экой ты дурень! Ты знаешь ли, што за штука лоцман?

— Э!

— Точно. Возьмешься ты за это дело и покаешься. Вот теперь Чусовая. Уж я знаю все, где какое место опасное, а кто ево знает, что случится? Вдруг как коломенка-то разобьется, ну и потонет. А я отвечай... Дура!..

Пила не понимал, как может потонуть коломенка. Лоцман растолковал ему.

— Эко дело!.. Научи ты меня, Терентьич! — говорил Пила.

— Вот и учись. Ты стой возле меня. Я тебя заставлю поносной водить.

— Уж ты и Сысойка заставь.

— И его заставлю. Только смотри делай, как я буду велеть.

— Уж не бай! А ты, Терентьич, и ребят туды поставь.

— Ребят нельзя. Работа их легкая. И им с эким бревном валандаться неподходящее дело... Надо тоже и чувствие иметь.

— А если можно, ты лучше со мной поставь.

— Толкуй с дураком! Ты то пойми: што им здесь делать-то? Какая у них сила? Ишшо захворают, горе будет с ними.

— Ну так и ладно.

Терентьич очень понравился Пиле, но Сысойко почему-то невзлюбил его.

Не долго постояли барки, не долго нежились и бурлаки. Надо же и плыть в дальний путь... Поплывайте, добрые молодцы, за богачеством. Не знаете вы, что богачество-то вы сами спроваживаете: барки-то полны, да не для вас все это.

VI

Приказчики сосчитали всех бурлаков. Беглых оказалось двадцать четыре человека. Барки были осмотрены старательно. Дали бурлакам по полтиннику денег и велели готовиться в путь; а тронуться назначено завтра. Окончив поверку и осмотр барок, приказчики сказали лоцманам:

— Ну, ребята, завтра мы поплывем. Смотрите, берегите барки и народ.

— Уж в эвтом не сумневайтесь,— было ответом лоцманов.

— Ну и ладно. А вы, ребята бурлаки, во всем слушайтесь лоцманов. Если кто ленив окажется да буянить будет, того мы прогоним и денег не дадим.

Бурлаки на это ничего не сказали, а стояли без шапок, переминаясь с ноги на ногу и почесывая свои бока.

— А когда в Пермь приплывем, тогда получите половину денег сполна.

Бурлакам это любо показалось. Кто поклонился приказчику, а кто и так стоял и смотрел на приказчика, как будто говорил про себя: больно ты хорош человек, только не обидь бедного человека...

Когда ушли приказчики, деятельность оживилась: лоцмана кричали на бурлаков, бурлаки бегали, кое-что прилаживали и починивали, готовили барки к отплытию. Вечером, накупивши в заводе хлеба и лаптей, все бурлаки загуляли — пропили свои трудовые деньги. Вечером в заводе было большое веселие: у бурлаков много было знакомых из рабочих, и они теперь угощали их за хлеб-соль. Наши подлиповцы тоже были пьяны, даже Павел с Иваном выпили косушку, и лоцман Терентьич тоже был пьян и бахвалился тем, что он лоцман не на барке, а на коломенке и шесть лет благополучно проводил барки. Песни и пляски стихли далеко за полночь, и многие бурлаки вовсе не спали, потому что в четвертом часу утра приехало заводское начальство с духовенством. Священник отслужил молебен на караванке, окропил барки водой, раздался выстрел; бурлаки дрогнули, а он глухим раскатом залился в горах. Выстрелили с караванки еще раз, еще раз, и пошла пальба... Народу на берегу много было.

— Отчаливай! Живо!..— крикнул кто-то с главной караванки.

Бурлаки бегали как угорелые по баркам, перебегали с барки на барку, кто брал весло, кто держал поносную, кто веревку...

— Отчаливай вон ту! что стали! — кричали с караванки. Барки трещали, скрипели...

Одна барка пошла, понесло и людей вместе с нею. Подлиповцы рот разинули.

— Крестись! — командовал лоцман.

Крещеные бурлаки перекрестились.

Барку повернуло боком, и она так и поплыла.

— Гре́би возьми!..— Бурлаки схватили весла. Одно весло держали двое.

— Греби сильней! греби-и!!

Бурлаки опустили в воду весла и стали промачивать их.

— Отчалива-ай!!

Поплыли еще две барки, потом три, десять...

Пила и Сысойко стояли посреди коломенки, ничего не понимая.

— Сысойко! — сказал Пила с боязнью и вцепился в полу Сысойкина полушубка.

— Боюсь,— ответил Сысойко.

Дети Пилы перестали откачивать воду. Они тоже стояли около отца и, ухватившись за полы полушубков Пилы и Сысойки, дико смотрели на удаляющиеся барки.

— Эй, вы! Пила! Сысойко! на корму! — кричит лоцман.

Пила и Сысойко подошли.

— А вы што глазеете! Пошли в барку,— кричит лоцман на детей Пилы.— Эй, вы! у весел стойте!.. Пошли на нос! еще шестеро сюда! — командовал лоцман, толкая бурлаков и тыча в их подбородки.

Стали стаскивать в воду поносные. Стаскиванье сопровождалось песнею: обхватит бурлак поносную, напрет на нее всею силою и закричит: «Дернем-подернем, да раз!.. ха!!» — и двигается поносная, а не запоет бурлак этой простой песни,— и силы нет...

— Смотри, ребя, не робеть. Что скажу, то и сполняй.

Теперь, братцы, боязно, как раз потонем! — говорит лоцман.

Все бурлаки струсили, а Пила спросил лоцмана: «А пошто?» Лоцману не до рассуждений было: у него много дел.

Все приготовлены, каждый держит в руке что-нибудь: кто весло, кто поносную, кто шестик, лежащий на коломенке, кто веревки.

— Отчаливай!— закричал лоцман Терентьич.— Отвязывай веревку-то!

С другой барки отвязали веревку с кормы. Коломенку двинуло в воду и живо поворотило кормой вниз по реке.

— Мужланы! Анафемы!! Я вас!— ревет лоцман...— Да отвязывайте носовую веревку!.. Ах, беда!.. Греби к берегу!! стой в носу!.. Не тронь канат!

Бурлаки забегали, напугались. Сдвинули поносную — и стали; погребли веслами — и стали. Лоцман вышел из терпения.

— Ах, мука какая! Да будьте вы прокляты, дьяволы эдакие! Загребай воду-то! Не так: в ту сторону!.. Ах, беда! От себя, черт, от себя!..— Бурлаки работали что есть силы. С них катил пот, а все не в толк.

— Что вы стали, дьяволы!— кричали на эту коломенку с берега и с караванок.

— Отчаливай нос! Принимайся в гре́би! загребай в реку!— Коломенка пошла, и пошла боком поперек реки.

— Сильнее, сильнее! Эй вы, носовые, вглубь! вглубь!.. А вы к берегу... Стой весла, иди сюды!

Кормовых и носовых пробрало. Пот так и катил с них. Коломенка скрипела, покачивалась и ушла уже далеко от заводов. Бурлаков приветствовал резкий ветер. Воздух свежел.

— Стой!— кричит лоцман. Бурлаки сели, на руках мозоли, а коломенка идет животом вперед.

— Слава богу — начин хорош, а там не знаю, что будет,— говорил лоцман и крестился. За ним крестились и прочие.

Бурлаки сидят и удивляются, что они плывут; впереди и позади тоже барки плывут. Много их пущено. Сидят они, смотрят на деревья и дивуются: ровно коломенка-то стоит, только деревья бегут, вон и камни бегут, и мужик какой-то бежит. Чудно! Ничего не поймешь. Коломенку несло очень скоро. Бурлаки не долго сидели. Минут через пять лоцман опять поднял всех на ноги.

— Заворачивай корму! живо!..— Корма повернулась вкось.— Греби к тому берегу, смотри, тут плот — это заплавь называется. Кабы не тронуться...— Дело в том, что дно реки Чусовой каменистое и сама она очень быстра и извилиста, так что нередко барки ударяются в береговые камни огромной величины, какие выглядывают даже из воды на середине реки. Поэтому, в отвращение несчастных случаев, придумали ограждать эти камни, носящие разные названия, вроде: Косой, Бражка, Узенький, Писаный, Дужный, Печка, Горчак, Разбойник,— заплавями, состоящими из двух плотин, из которых каждая половина состоит из трех *прясел* (бревен) длиною до десяти сажен, толщиною до семи вершков, связанных между собою веревками. Они привязываются к деревьям, растущим на берегу, так, чтобы, плавая по воде, могли принять на себя барку, если она силою течения будет плыть прямо на камень. Но эти заплави мало приносят пользы, потому что ударом барки о бревна далеко относит, и барка все-таки разбивается о камень. В двух верстах показалась черная гора.

— Греби, не робей, ребятушки... Выручи, водки куплю!..

Работа началась на всей коломенке, работали носовые, кормовые и гре́би. Весла и поносные шумели, вода от плеска тоже шумела, ветер свистел и проницал каждого человека до костей. Все умаялись, все молчат, дико смотря

на приближающуюся гору. Каждый трепещет и молится горе: матушка, горушка, выручи!.. Лоцман несколько раз перекрестился, поминутно мерял шестом глубину реки и сам помогал грести поносную. Гору миновали благополучно. Лоцман перекрестился и сказал: «Брось!» Все бурлаки сели.

Так плыли бурлаки каждый день.

И хорошо как плывут барки! Люди сидят измученные и что-то думают, вероятно о трудной работе, какой они еще не делывали, и весело им кажется: барка плывет, лес и камни мелькают. Ишь, какое дерево-то хорошее промелькнуло! Вон какой лес показался, речка бежит, а там вдали деревушка под горой стоит, и серые поля с грядами видятся... Вон село какое-то с деревянной церковью, ишь, какие крыши-то высокие, так вот и кажется, что дома друг на дружку лепятся. Вон опять поле, плетнем огороженное. Какой-то мужик в тележке едет... А вон, налево, лес горит, и тушить-то его некому. А вон мужики куда-то бревна везут. Вон в лодке мужик с бабой реку переезжает... И все плывет, идет, бежит куда-то, все смотрит на бурлаков, кивает им приветливо: здравствуй, мол, почтенный! Куда те бог несет?.. Бурлаки действуют веслами и поносными; вода плещется, барка скрипит, точно как плачет, обмывается водой, смывая бурлацкие слезы... Бурлаки работают: то и дело нагибая спины, наклоняются, поднимаются, шлепают тяжелыми, усталыми ногами, думают что-то, вероятно об том: ах бы лечь и отдохнуть... Рубашки смокли, прильнули к горячему телу, по бородам текут крупные потные капли и падают то на весла, то на рукавицы... А барку несет боком, леса, поля, деревни, люди — все и все куда-то несет. Эх ты, жизнь, жизнь горе-горькая! Только одно солнышко стоит на одном месте, ласково так смотрит на мир божий, да и то ненадолго,— возьмет и спрячется за серые тучи, словно дразнится.

Опять впереди утес, крутой и страшный. Так вот и кажется, что тут и конец реке, так вот и хлобыснется об камень барка... Но одна барка спряталась, другая нашла на утес, треснула; раздался гул, крики мужиков... Ничего не разберешь! Видно только, что люди копошатся, плывут в шитике, слезли на берег, и барки не стало... Бурлаки дрогнули и, выпучив глаза, смотрели на то место.

— Валяй на всех!— кричит лоцман. Опять возня, ругань. Гора приближается все ближе, чернеет, такая страшная, голые утесы, точно страшилища какие, висят над рекой: берегись, мол, зашибу!..

— Греби! Греби! Что стали?..

— Эка беда!— ворчат бурлаки.— Скоро ли уж конец-то!..

— Греби сильней!.. Валяй! в землю смотри...— И лоцман сам принялся грести.

Миновали утес. Там, по колено в воде, стояли бурлаки на потонувшей барке и просили пощады у Терентьича... На гору лепилось несколько бурлаков; к барке плыли в шитике два лоцмана и четверо бурлаков.

— Пусти!— говорили они.

— Греби! что стали?..— говорит лоцман Терентьич.

— Ради Христа...

— Ну вас!.. Греби сильнее, вон там опасно...

Барка завернула за утес. Впереди плывут барки.

— Вот оно што!..

— Беда...

— Эк ее хлобыснуло!— рассуждают бурлаки.

— А еще два лоцмана!— говорит лоцман Терентьич.

— Как же теперь?— спрашивает лоцмана Пила.

— А так: барка потонула, а может, и люди потонули, лоцману беда. Ах, злочесь какая!— тужит лоцман.

— Эй ты, мужлан, сворачивай вглубь!— кричит лоцман на лоцмана одной барки, плывущей впереди,

— Э!— отозвалось с барки, и слышится оттуда крик:— Вали к берегу! вали!

Бурлаки плывут молча. Темнеет. Слышны скрип барок, глухой плеск воды да песня: «Разом да раз! дернем-подернем, да раз!.. Ха!..»

Вечером пристали к прочим баркам. На барках рассуждали об убившейся барке. Много бурлаков хотело идти посмотреть на ту барку и потужить с бурлаками, да идти-то далеко, и отдохнуть хочется.

— Эдак и мы помрем,— говорит Сысойко.

— Не помрем. У нас лоцман — беда!— говорит Пила.

Бурлаки наелись сытно и улеглись спать в барки. Во сне им снилось: как они плывут, как кричит лоцман, как хлобыснется барка об утесы, как они поднимаются на горы и падают в реку...

Ночью приплыло к баркам несколько бурлаков с разбившейся барки. Утром их приняли на две барки. Эти бурлаки говорили, что потонуло два бурлака, один лоцман убежал куда-то, а другой уехал куда-то к набольшим.

В третьем часу утра бурлаки уже отчаливали барки. Берега опять огласились бурлацкою вознею, скрипом весел и поносных, руганью лоцманов, песнями: «Дернем-подернем, да раз!..» И каждую весну оглашаются так берега Чусовой; страшилища-утесы, пугалища-камни любуются трудом бурлаков, издеваются над людским горем... И сколько по этой Чусовой барок пройдет! Не один десяток тысяч людей, плывя по этой быстрой каменистой страшной реке, дрожит от страха и молится горам: «Не ударь — проведи... всю жизнь буду молиться тебе... что хошь возьми, только не убей!..» Только по ночам опасности забываются, и идут рассказы про Ермака Тимофеича, о камне Ермаке-разбойнике, да воздух оглашается скрипочной игрою с караванок, на которых с утра до вечера буянят и пьянствуют приказчики.

VII

До Камы барки плыли восемь дней. Ночью приставали где попало. Приставали и днем около селений, в которых закупали хлеба.

Можно бы написать про то, как бурлаки плыли восемь дней, да не стоит, потому что первый день плавания походил на прочие: тот же крик лоцманов, те же песни бурлаков, та же возня их, те же думы бурлаков. Бурлака мало интересует природа: видит он баское место, да что толку? Не про него оно устроилось так... Ему бы поесть только хорошенько да поспать в тепле... А там, может, и лучше будет... Только работа больно как тяжела! Почти четверть бурлаков чувствуют боль, и половина этих больных лежит, да и на них покрикивают лоцманы:

— Что дрыхнете!

— Ой, помираю!— стонут бурлаки.

— Я те помру! Пошел, робь!..— кричит лоцман.

А бурлак и пошевелиться не может.

Два бурлака умерли. Их зарыли на берегу. А зарыть очень легко, легко и в реку с камнем бросить, потому — можно сказать, что они убегли. Сельское начальство не скоро отыщешь, надо ждать дня три, да оно еще привяжется. Уж лучше, как зарыли; все знают, что человек-то помер; ну и спи, родной; по крайности не мучишься!.. Пожалеют бурлаки мертвеца, да и забудут в тот же день, только ночью иным мерещится во сне что-то страшное.

У заводов и больших сел барки и коломенки останавливаются для закупки провизии. Приказчики дают бурлакам деньги на харчи, и с прибытием барок набережные заводов, сел и деревень оживают. Бурлаки запасаются хлебом, наполняют кабачки; жители навязывают им разные сласти — мясо, брюшину, яйца, лук, огурцы и т. п.— и продают сравнительно с приволжскими местами очень дешево.

Бурлак, имеющий деньги, непременно покупает что-нибудь и, главное, непременно вернется на барку навеселе.

Пила с Сысойком пробавлялся даром. Ни у него, ни у ребят его, ни у Сысойки не было денег. Хлеб, купленный в заводе, давно весь вышел, так как каждый съедал в сутки по полковриге. Когда не стало у них хлеба, они воровали из котомок других бурлаков. На рынках, в селах и заводах Пила на хитрости пустился. На рынках обыкновенно кричат:

— Хлеба купи! луку купи!

Пила и говорит:

— Давай,— и наберет пять ковриг. Сысойко наберет огурцов и луку.

— А вы деньги подайте?

— А ты подожди. Нас, гли, сколь — не убежим.

— Знаем мы вас!

— Толкуй ошшо! Сказано, прибегу.

К торговке или к торговцу приходят другие покупатели. Пила и Сысойко уходят на свою барку; а как ушли,— и поминай, как звали.

Таким же манером он и мясо покупал.

На пристанях бурлаки отдыхали; этот отдых был для них каким-то праздником. Накушавшись хлеба, доставши сластей, они дружно ели кучками, и ели очень много, так много, что другой крестьянин не съест столько: возьмет пленку луку — съест; мало — еще съест; возьмет огурцы — съест, у другого попросит; нальет из котла щей в большую деревянную чашку, накрошит в нее хлеба, водицы речной подольет и хлебает огромной бурлацкой ложкой. Целого котла недоставало на толпу, и они, выхлебав щи, нальют в чашку воды и опять хлебают с крошками. Да и щи-то какие: вода да мясо, без всякой приправы... Зато все едят дружно, не сердятся, не завидуют, как будто все родные братья. Наестся бурлак и начнет проминать-

ся — что-нибудь ладить; кое-кто лапти чинит, кое-кто спит, развалившись на палубе, так что только ветерок развевает волосы да бороды. Вечером стоит посмотреть на бурлаков, чего-то они не делают: и поют, и пляшут, и играют на гармонийках, точно забыли денной труд, точно радуются, что они миновали опасность, не нарадуются, что дождались-таки волюшки-свободушки, и не думают, что завтра опять будет тяжелый труд... Почти каждый бурлак, плывущий не в первый раз, знает песню «Вниз по матушке по Волге», и песня эта часто поется разом на трех, шести барках. Больно нравится бурлакам эта песня,— почему, они не дадут отчета, только чувствуют, что она хорошая песня и лучше ее нет другой песни.

Дети Пилы тоже радовались вместе с бурлаками. Работа их была легкая, и брат с братом постоянно толковали об чем-нибудь.

— Слышь, как лоцман ревет!— дивуется Павел.

— Ну уж и горло!— ребята смеются.

— Это он на Сысойка кричит.

— Э! пусть кричит... Слышь! Во как честит!

— А вот на нас так не кричит.

— А пошто он те вчера бил?

— Уж молчи! Самово тебя бил.

— Вот што, Пашка, пошто эта барка-то пишшит?

— А кто ее знат.

— Поди, мужикам-то трудно?

— Што мне... А мы вот качали-качали, а воды все, гли, сколь! Как ты ее не отливай, а ее все больше да больше.

— Вот што... сделам дыру в барке-то, вода и выбежит...

— Дурень! Да ведь вода-то оттого и бежит в барку — дыры в барке-то. Ты сделай дыру — и потонем.

— А тятька-то вор: гли, сколь хлеба украл.

— Отколотим его.

— У него сила, Ванька,— прибьет! Вон и Сысойко не может с ним справиться.

— Да Сысойко вахлак; я, что есть, прибью.

— Пойдем спать?

— Давай лучше барки пускать.

— Давай.

Ребята бросают в воду щепку и смотрят: идет щепка или нет. Щепка стоит...

— Умоемся.— И ребята умываются грязной водой, покрывшей на полторы четверти дно барки. Читатель, может быть, удивился: зачем ребята умывались грязною водою, накопившеюся в барке, когда они могли бы умыться в самой реке? Во-первых, они были еще глупы,— прежде они умывались и купались в речке, находящейся в трех верстах от Подлипной, да и я забыл раньше сказать, что в Подлипной бань не существовало; во-вторых, они были водоливы, и им было мало времени на то, чтобы бегать на берег, а достать воды ведром... они, вероятно, не додумались до этого в тот момент, когда им пришла мысль,— есть вода под ногами — и ладно.

Больше всего их занимало то: идет барка или нет.

— Смотри, Пашка, как лес бежит.

— Уж я смотрю.

— Ну и врешь: лес бежит, и барка бежит.

— Диво!.. Пошто это барка-то бежит? Ведь ее никто не везет?

— То-то и есть.

Ребята старались сами узнать, почему это так. Спросить некого. Они знали, что бурлаков не стоит спрашивать. Вот они раз бросили с барки доску, доска поплыла; бросили камень, камень утонул. Спустили шест на воду, шест потянуло книзу, и они никак не могли удержать его.

— Эка сила!

— Вот поэтому и тащит нас.

— А мы попробуем, зайдем в реку — поплывем али нет.

Раз они зашли в воду по колено, их перло книзу.

— Эка сила — утащит!

Они хотели идти дальше, и потонули бы, да их лоцман испугал:

— Потонуть вам, шельмам, хочется!

— Мы, дядя, так...

— Я те дам — так! Ступи-ко еще и утонешь.

— А и то утонешь: вон камень потонул тоже...

Лоцман говорил им, что есть люди, которые не тонут, а умеют плавать. Они не верили.

В устье реки Сылвы, впадающей в Чусовую, много было барок, приплывших из других заводов; барки эти тоже двинулись вниз.

Всем хотелось скорее увидать Каму, по которой плыть не опасно, а как вошел в нее, и делать нечего. Подлиповцам больше всех хотелось увидать Каму. Бают, она широкая, глубокая, сердитая такая. Сколько рек прошли, а все, бают, в Каму бегут. «Знам мы Каму-то, она от Подлипной недалеко, так там махонькая, а глубокая, рыбы пропасть, а здесь, поди, и конца ей нету, а рыбы-то, поди, людей едят...»

VIII

Наконец, барки стали в устье Чусовой, против деревни, и загородили все устье. Чусовая здесь шире и глубже, а Кама шире Чусовой в три или четыре раза. Берега как Чусовой, так и Камы низкие.

Бурлаки обрадовались.

— Гли, Кама! Экая большая!..

— Баская река, и конца-то ей нет.

— Супротив Камы теперь все реки дрянь, и Чусова пигалица против нее.

— Вот уж река дак река — никому зла не сделат.

— Одново года беда тут была. Пошли, знашь, барки да стали в Перму, и поди ты, братец мой, лед сверху. И лед-то какой — ужасти! Как царапнет барку, и пошла ко дну... Много барок перетопило.

— Ну, а теперь ничего?

— Теперь ловко. Теперь мы долго ошшо стоять будем; кто его знает, этот лед-то, прошел он али нет.

— Бают в деревне: весь прошел.

Барки здесь простояли два дня. В это время бурлаки больше спали, а лоцман, имевший в деревне родственника, пошел к нему с Сысойком, Пилой и детьми его, сытно пообедал, выпарился в бане и принарядился. Здесь все лоцманы выпили водки, надели красные рубахи и навязали на шляпы красные ленточки. Все были веселы, покуривали махорку, пели песни.

— Ну, ребята, доехали до Камы, а там как по маслу пойдет,— говорил лоцман.

— Баско,— говорили бурлаки.

— А все я вас провел. Молиться вы должны за меня.

— А ошшо далеко бежать-то?

— Да больше того, сколь прошли.

— А Подлипная близко?— спросил Пила.

— Какая Подлипная?

— Ну наша-то деревня?

— Чердынь-то?

— Ну, Чердынь-город.

— Да как тебе сказать, не солгать? Мы одново разу судно тянули от Перми до Чердыни; пошли — тепло было, а пришли туда — холодно стало, потому, значит, долго шли — река больно мелка. А так ходу неделя.

— Вре?

— Только неделя. Вот теперь там хлеб больно дорог, а суда ходят только до Усолья да до Соликамска, а в Чер-

дынь редко, потому река мелка, да и Чердынь в стороне верст за сорок стоит.

— Да мы в Усолье-городе были. Там ишшо соль делают. А оттуда шли-шли... Пошли — стужа была, а пришли к баркам, тепло стало.

— А можно бы в две недели дойти.

— Ну, и врешь!— Подлиповцы думали, что лоцман морочит их.

— Вы круг дали: вам бы по Каме надо идти, по большому тракту.

— Вре?

— Вам можно всего только неделю дойти до Перми, а там бы на пароходы наняться.

— И то бы лучше там было.

— Я вот теперь Каму хорошо знаю и на Волге бывал годов с пять. Хотел на пароход наняться, да прохворал зиму-то; а ныне наймусь беспременно зимой.

— Там баско?

— Да лучше здешнего, работы меньше.

— Так ты и нас возьми.

— Можно будет, и вам доставлю работы.

Пила с Сысойком задумали поступить на пароходы, еще не зная, что это за штуки такие.

IX

Барки тронулись по Каме. Кама бушевала, дул снизу сильный ветер, шел дождь. Бурлаков пробирало ветром очень чувствительно, полушубки их смокли. Барки покачивало от больших волн. Подлиповцы в первый раз увидали такие волны и дивовались.

— Экая большая, как гора! Смотри, как хлобыснулась! Ишь как! Шумит больно...

Барки плыли врассыпную, боком. Бурлаки работали

с час. Их хорошо пробрало, да и грести не стоило. Бурлак так гребет: спустит весло в воду, обмакнет и поднимет, кое-кто разве гребнет, да и то редко. Работа очень скучная. А в ветер немного так нагребешь: спустил бурлак весло в воду, волна и ударит его, а иное и не достанет воды. Лоцманы, наконец, прекратили работу, да и не стоило работать, когда барка шла посередине реки. Вот два острова миновали уже, а теперь и спи часа два, а там Мотовилихинский остров будет — и Пермь в двух верстах.

Подлиповцы, кроме Елки, который хворал, по-прежнему находились у кормы. Пилу и Сысойку больно пробрало ветром, вымочило дождем: они дрожали. Им страшно надоело сидеть на корме, а лоцман не пускает в коломенку.

— Сиди, чего еще надо? Вот скоро Пермь будет, выдрыхнешься.

Однако Пила увел Сысойку в нутро коломенки и лег на железные доски. Оба дрожали. В коломенке лежали семь бурлаков.

— Ну их к лешим! Не станем робить!— говорил Пила.

— Бают: город скоро, там и останемся,— говорит Сысойко.

— И мы с вами?— напрашивается Павел.

— Вас не возьмут.

— Возьмут.

— Коли возьмут, ступай. А уж мы здесь не останемся. Ну уж, и край! Эк вымокли. Помрем тожно...

— А лоцман баег: сила он. А тоже и без него барку-то тащит.

— Послушай только его, наврет он тебе.

— Наплевать нам на лоцмана!— говорит один из бурлаков.

— Уж больно криклив. А мы вот, как он закричит на нас, и не пойдем!— ворчит Пила.

— Ты за меня держись; уж не пойдем!— говорит Сысойко.

— Город, бает, близко. Да, поди, ошшо врет: сколько водил по рекам-то да обманывал!

— Вот он теперь нас бьет. А пошто?— говорит Павел.

— А ты не давайся. Мне скажи, я ему задам,— ворчит Пила.

— Бает, прогоню.

— Ишь, командир какой, черт! Сам восемь медведев убил...

— Лоцман бает, нам в городе денег дадут.

— А не дадут разе? Ну-ко, не дай... попробуй!

— Эй вы, черти! что спрятались?— крикнул в дыру лоцман.

Пила и Сысойко ни с места. Павел и Иван тоже перестали откачивать воду.

Лоцман еще крикнул. Сысойко и Пила хохочут: эк, испугались! Лоцман вошел в барку. За ним вошло бурлаков двадцать.

— А вы куда! Пошли!..— закричал он на бурлаков.

— Не слушай ево, лешева. Заведет он нас в чучу!— кричит Пила.

Бурлаки развалились спать. Лоцман руками хлопнул.

— Да что вы, анафемы? Пошли!

Бурлаки хохочут.

— Бурлака водка бар! Пьеп-се, шайтан те заешь,— проговорил черемис.

— Пырни его, пырни!— кричит Пила одному бурлаку.

Лоцман стал бить Пилу. За Пилу вступились прочие бурлаки.

— Так вы так! Начальство не хотите знать? Пошли вон!

— А ты деньги подай! Тогда и распоряжайся!— кричит Пила.

— Деньги подай!— говорят бурлаки.

Лоцман струсил. Все бурлаки вооружились на лоцмана, и никто не шел на палубу.

«Беда, еще убьют, пожалуй!»— думает лоцман.

— Братцы, да не сердитесь! ну чем я вас обидел?

— Знаем мы, чем обидел. Подай деньги, и робить станем.

— Ребятушки, ведь эдак мы и город проплывем.

— Ты город кажи!

— Да скоро. Вон за тем углом и город.

Бурлаки не шли на палубу. Лоцман ушел.

— Што? Али я не сила?— бахвалился Пила.— Пусь один поробит. Пусь...

— Да и што робить-то! Барка-то и без нас идет,— заметили бурлаки.

Лоцман не знал, что делать. Напугать бурлаков — убьют; соврать им что-нибудь — не поверят. Он стоял, закручинившись. С ним стояло трое бурлаков. Лоцман решился пугнуть бурлаков острогом.

— Послушайте, братцы: если вы делом не хотите робить, я, как приеду в город, начальству вас отдам. Пусть в острог посадит.

— Экой прыткой!— говорил Пила.

— Тебе хочется? Не бывал разе в остроге-то?..

— Был, да теперь не затащишь.

Пилу окружили несколько бурлаков.

— Так ты, бат, сидел?

— Беда!

— Значит, бежал?

— Прибил ошшо, самово прибили. Вон и Сысойка прибили.

— А ты за што сидел — за убийствие?

Пила осердился, но смолчал.

— Уж знаю, нехороший человек!— сказал лоцман.

— Он, ребя, ошшо убьет!— заметили некоторые из бурлаков и пошли на палубу. За ними пошли остальные и лоцман.

— А вы вот еще связались с ним!— сказал бурлакам лоцман.

— Не говори с ним.

— Хлеба не ешь...

— Убьет...

— Я, бат, туда пойду!— говорил Сысойко, скучая от лежанки на железе.

— Ну и черт с тобой.

— А пойдем!

— Ну те к лешим. Спи, знай.

Иван и Павел смеялись над Пилой и Сысойком.

— Пашка, дерни Сысойка-то!

— Сысойка, хлобысни тятьку!

— Я те хлобысну! Ну-ко, подойди!

Иван подходит к Пиле, дергает его за полушубок; Пила схватывает его за волосы и теребит. За Ивана пристает Павел; Пила прибил и Павла.

Сысойко вышел на палубу. Показался город.

— Тятька, гли-кось, там што,— крикнул Иван Пиле, увидав в дыру город.

Пила посмотрел, улыбнулся и ткнул в бок Елку.

— Вставай! Перма уж.

— Ой, пусти!— стонет Елка.

Пила ушел на палубу. Все бурлаки смотрели на город и дивились.

— Эко баско! Ай да Перма-матушка! Вот так городок! Гли, церквей што, домов белых... А барок-то, судов!

Здесь река была в версту ширины, и больно она большою казалась впереди: далеко-далеко там что-то черное видно,— там, видно, и конец. Выглянуло солнце и опять спряталось.

— Греби!— вскричал лоцман. Работа началась. Пила и Сысойко тоже принялись за поносную.

— Ты не тронь,— сказал один бурлак Пиле и оттолкнул его от поносной.

— Потолкайся, што я не свисну! Ты вишь, город.

— Бей ево!

— Я те дам — бей... В воду столкону!

— Греби, греби! что ругаетесь! Мало ли что вам скажут, так вы и верите,— заступился лоцман за подлиповцев.

Пила и Сысойко не могли понять, что такое сделалось с бурлаками. Они и не залюбили бурлаков...

И опять работают бурлаки молча, нагибая спины, опуская весла в воду и поднимая их,— только и слышатся их тяжелые шаги, да барка скрипит. Что думают бурлаки — бог весть. Они то и дело смотрят на приближающийся город; на лицах видится тоска, какое-то желание и что-то такое, что бурлак не в состоянии не только передать другому бурлаку, но даже понять. Один только лоцман стоит у столба посреди барки и важно, жадно глядит на город: знай, мол, наших!

— Брось гре́би! брось носовые! Загребай к берегу!— кричит он бурлакам.

Город близко. Около берега, возле города, стояло несколько барок, коломенок, караванок, с кружками на верху мачт и флагами на мачтах, баржи, два парохода, из которых один готовился к отплытию. Мимо подлиповцев прошел пароход с двумя баржами и оглушительно просвистел: бойся, мол, дрянь ты экая! Все бурлаки смотрели на него, как на чудо; особенно дивились те, которые в первый раз видели пароход. Их забавляли колеса, дым, свисток и то, что он бежит кверху да еще во́ какие огромные домины прет. Больше всего дым занятен: эк он из трубы-то валит, черный, да много сколь и выходит, да как лошадь ржет.

— Ну и черт!
— Эк он,— рассуждают бурлаки.
— Вот ошшо! — Впереди шел пассажирский пароход.
— Гли, как он колесами-те загребат!.. Эво! воно как, ах, будь он проклят...
Раздался свисток. Бурлаки дрогнули.
— Экая у него пась-то. Варнак... право!
А лоцман издевается над бурлаками да хихикает:
— Оболтусы вы экие!.. Ничего-то вы не смыслите... Право, дурачье экое. Вы то поймите, он паром ходит и названье ему: пароход.
Бурлаки хохочут. Больно уж смешно лоцман бает.
— Там котлы поделаны для паров, и печь большая устроена. Он сажен двадцать в день съедает.
Бурлакам опять смешно.
— Ишь ты, черт! А пошто?
— По то, что пароход. Парами ходит.
— Прокурат, право, ты! Экой зубоскал!..
— А там машины такие устроены, кои сами действуют.
— Ну уж и сами?
— Ей-богу.
— Так-таки сами?
— И люди только дрова бросают, да машинист около машины сидит, наблюдает.
— Так он сам бежит?
— Экие вы дураки!— Лоцман плюнул в реку.— Врать вам стану,— нужно поди-кось!
— А пошто же у него веслов нету?
Лоцман рукой махнул и отошел от бурлаков прочь.
— А ведь прокурат лоцман-то. Ишь, што сбрехал: сам, бает, ходит,— толкуют бурлаки и хохочут.
Причалили к берегу против почтовой конторы. Здесь

было уже барок двадцать. Бурлаки сидели и ходили на барках, на берегу, плелись на гору в город. На горе гуляла губернская публика. Все это занимало подлиповцев, и они тоже сошли на берег, постояли под горой, потолковали, идти или нет, и решили, что идти незачем: нет денег, да и поздно,— ушли опять на свою барку. Наелись сытно хлеба с водой и легли спать; но никак не могли уснуть. Больно их забавляли пароходы и публика губернская. Разговоры шли теперь вроде следующего:

— Ну, а теперь доплыли в Перму. Отдохнем. Супротив Перми да Елабуги уж не будет таких городов.

— Там еще Нижной-город есть. Огромнеющий, дома — эво какие. А это супротив Нижнего пигалича.

— Это, бают, губерня, потому, бают, все набольшие живут, страшные такие... Всем городам правят, и Чусова тоже на Перму молится.

— Вре! А Чердынь?— спросил Пила.

— И Чердынь тоже.

— А Подлипная?

— Тоже.

— Ну, брат, врешь... У меня только и было начальство — поп да становой!— ворчит Пила.

— Ну, значит, ты вячкой.

— Я те дам — вячкой! Сам ты вячкой...— бранится Пила.

Барки то и дело прибывали. К каждой барке приходили солдаты, служащие в дистанции путей сообщения, осматривали барки, билеты, считали бурлаков, придирались к лоцманам за больных, кричали и получали от лоцманов деньги.

Первый день прошел скучно для бурлаков. Все они умаялись и рано легли спать. Некоторые из них ходили в город, да только так, поглазеть. Ночью еще приплыло несколько барок, и вновь приплывшие бурлаки не давали

спать приплывшим раньше, потому что кричали: «Бери чалку!», потом наступали на ноги спавших на барках бурлаков. Бурлаки ругались.

X

В полдень на другой день бурлаки получили по полтиннику денег. До этого времени некоторые из них продавали в городе за дешевую цену сковородки, чугунки и прочие железные вещи и на деньги покупали хлеба, булок, огурцов, сушеных судаков и луку. Соленые и сушеные судаки бурлаки разрубливали на несколько частей, и большею частию глотали не размоченные, прикусывая хлебом и свежим луком.

Бурлаков, не бывавших в больших городах, очень занимала Пермь. По правде сказать, город этот неказист, жители бедны, хорошие дома построены большею частию на одной улице, идущей от сибирской заставы к дому В., а потом к будке, стоящей на краю лога. Но бурлаки эти в первый раз видели большие дома, в первый раз ходили по прямым улицам. Их все забавляло: и люди, и кареты, и телеграфные столбы.

В этот день Пилу и Сысойку с ребятами лоцман не отпустил в город, а заставил чинить барку. Посмотрим ближе на жизнь бурлаков в Перми хотя в третий день, когда подлиповцы пошли в город.

Четыре часа утра. Барок больше сотни; но барки все еще приплывают. Посреди их красуются четыре караванки с разноцветными кружками и с надписями на флагах, означающими название заводов. Бурлаки почти все встали, и каждый что-нибудь ладит. Стук, звук от железа, скрип и говор не умолкают и слышатся далеко. Несколько бурлаков кучками сидят или лежат под горой и на горе; сидящие разговаривают, или зевают, или едят хлеб, лежа-

щие дремлют или смотрят на барки, на реку, на небо... Хорошо сидеть на горе против реки, так бы все и сидел, и мысли все какие-то хорошие появляются в голове... И часто бурлак засыпает, нежась на сырой земле... Он отдыхает, и хочется ему все бы так отдыхать.

Пять часов утра. В это время к баркам идут городские и мотовилихинские[1] торговки и приносят на досках, положенных на головы, хлеба и калачей и на коромыслах луку, квасу и огурцов. Бурлаки берут нарасхват или хлеба, или луку. Квас пьют все. Пила старался достать хлеба даром, да здесь торговки оказались хитрее его; сами мастерицы обманывать, а хлеб большею частью продают с закалой.

В восьмом часу бурлаки идут толпами в город, кто в полушубках, кто в одних рубахах. Лоцманы отправляются к начальнику дистанции, за ними идут и приказчики и другие старшие лица над бурлаками, плывущие на караванках. Зачем они идут к начальнику дистанции,— об этом редкий житель Перми не знает, а мы умолчим.

Бурлаки валом валят в город, а на барках все еще много их: там все не умолкает стук, скрип. Несколько барок уже отплывают.

Пиле и Сысойке лоцман не дал денег за то, что они нагрубили ему. В этот день лоцман велел им не отлучаться с барок, а сам ушел. Их взяло горе.

— А мы побежим,— сказал Пила Сысойке.

— Куды подем? здесь баско.

— А мы подем поглядим.

Пила пошел к детям.

— Сколько он дал?— спросил он Павла.

— Ишь!— Павел показал медные деньги — двадцать копеек.

---

[1] Мотовилихинский завод, находящийся в трех верстах от города. *(Примеч. автора.)*

— Много,— говорил Иван.
— Пойдем!— скомандовал Пила детям.
— Да он велел воду откачивать.
— Што откачивать! Хоть ты качай не качай, а воды — гли, сколько.
Ребята пошли.
— А вы нам дайте денег, как получим, отдадим.
Ребята не давали.
— Вы насобираете. Право, дай!
Ребята поругались, а как стали всходить на гору, отдали по пятнадцать копеек каждый. Деньги взял Пила.
Взошли они на гору с двумя бурлаками. На горе в нескольких местах сидели горожане, глазевшие на барки и на бурлаков. Подлиповцам хорошо сделалось, когда они посмотрели на реку.
— Ишь ты!— улыбаясь, говорил Пила. Они вошли в улицу. Проехала карета. Пила долго ломал голову и не мог понять, что это за штука такая.
Пройдет ли хорошо одетый господин, подлиповцы шапки снимают и смотрят на него; попадется ли офицер, они тоже снимают шапки и долго дивуются: кто же это такой? Попался им навстречу молодой дьякон, без пушка на лице, в шелковой рясе. Пила долго смотрел на него, рассуждая, кто это. Ему казалось, что это женщина, и он хотел догнать дьякона, посмотреть на него, да товарищи отговорили. Куда ни посмотри, везде хорошо. Вот бы пожить тут. В нескольких местах на деревянных тротуарах сидят бурлаки и едят; несколько человек лежит около заплотов на траве.
— Вы откелева?— спрашивают подлиповцы бурлаков. Те скажут.
По улицам идут бурлаки: один несет чигунки, другой коты, третий пять ковриг черного хлеба на спине, обвязав их веревкой, двое тащат на палке брюшину, осердие, ста-

рую, почти засохшую говядину. Кто ест, а кто и так идет; попадаются даже пьяные.

Увидали они телеграфные столбы.

— А это што?

— А это соль добывают,— решил Пила.

Однако они подошли к одному столбу, около которого стояла кучка бурлаков.

— Што, ребя, диво?— сказал Пила, думая, что в столбах ничего нет удивительного.

— Да, бают, тут беда. Сказал ты слово, и пошло качать,— говорит один бурлак.

— Поди ты к лешим!.. Вишь ты, тут соль добывают?

— Попал! Ты видал ли, как соль-ту добывают?

— Эво!

— Там столбы-то не экие, да и перекладины поделаны, а тут железки, да еще четыре.

Пила в тупик встал, однако подумал: «Может, и здесь соль делают, только иначе».

— Эй, поштенный! Это што?— спросил один бурлак мещанина.

— Это телеграф.

— Как?

Тот повторил.

— А што же тут делают?

— Письма отправляют.

Бурлаки не знали, что за штука такая письмо.

— Теперича, как пошлешь письмо за тысячу верст утром, оно вот и побежит по проволоке и к обеду там будет.

— Худо место!— сказал Пила. И бурлаки отошли прочь.

Перед окнами одного дома пели двое зырян. Им что-то подали. Пиле завидно стало, и он пошел просить под окно ради Христа; ему не подали ничего.

— Не баско здеся,— сказал он.

Подлиповцы шли посереди дороги. По полу, как называли они тротуары, они боялись идти: ишшо прибьют.

Они пришли на рынок. По всему рынку бродили и терлись около торгашей и торговок бурлаки. Торговцы кричали, ругались и силой навязывали бурлакам купить чего-нибудь. У подлиповцев глаза разбежались: чего-то нет на рынке!.. А какие еще есть булки белые да махонькие, крендели да штучки какие-то... Так бы вот и съел все! Пила купил пекарскую булку[1]. Эта булка так понравилась Пиле и Сысойке, что они ее в четыре приема съели.

— Што?— говорит Пила.

— Давай ошшо!— просит Сысойко.

Они купили еще и съели, и все-таки не наелись, потому что такую мягкую булку они ели в первый раз; они, на вкус подлиповцев, были только сладки, но, сравнительно с черным хлебом, далеко не питательны.

Пошли все в питейную лавочку, взяли у ребят последние деньги и пропили.

— А ись хочется,— говорит Пила.

— Беда!..

— А больно баско тамо! Все бы ел да ел.

— Денег нет. Лоцман не дал.

В лавочке было восемь бурлаков, из коих два с той барки, на которой был Пила. Подлиповцев попотчевали. Они захмелели. Ребята ушли сбирать милостинку и через час пришли с семью кусками хлеба; в руках у них было двенадцать грошиков.

---

[1] Нисколько не походит на французскую, как заметил один критик, отозвавшись о подлиповцах с полным непониманием этих людей, сравнивая их с петербургскими судорабочими. Пекарская булка в Перми — продолговатая, весит около фунта и по роду муки называется или казанской сайкой, или сибирскою пекарской булкой. *(Примеч. автора.)*

Подлиповцы вышли из лавочки. На улице били их лоцмана, Терентьича. Пила и Сысойко пристали за лоцмана.

— Ну, спасибо, братцы, выручили,— говорил лоцман и поцеловал Пилу и Сысойку,— таперь подемте пить.— Лоцман был пьян.

— А ты пошто мне не дал денег?— ворчит Пила.

— А пошто ты ослушаться вздумал? Ты знай, я сила!.. Я барку по Чусовой провел.

— Сама прошла.

— Ну и не дам денег, не дам... Не перечь мне! Не пере-е-ечь!

Лоцман привел подлиповцев в питейную лавочку, купил полштоф водки и угостил их, даже Иван и Павел выпили. Лоцман дал Пиле рубль.

— Пей, ребя! Таперь праздник!— кричали в лавочке бурлаки.

— Уж таперь нет опаски!..— Лоцман повел подлиповцев в трактир и там угостил супом и жарким. Подлиповцы сладко наелись.

Из трактира лоцман и подлиповцы вышли пьяные и по выходе на улицу сейчас же запели песню. Даже Павел и Иван пошатывались и что-то пели. По улицам было очень много пьяных бурлаков. Большая часть их пела и играла на гармонийках и балалайках. Горожане смотрят на них да посмеиваются. Но никто не обижает бурлаков.

Несколько бурлаков нашли себе теплые гнездышки в домах бедных мещан. Хозяева домов пускали бурлаков по три копейки в сутки, от шести до пятнадцати человек. И крепко спали бурлаки в теплых избах, и хорошо им было, хотя они и на грязном полу спали. Давно уже они не спали так, и долго еще им не придется так спать.

Подлиповцы с лоцманом едва добрались до своей барки,

и как только пришли, так и завалились спать и проспали весь вечер и всю ночь.

На барках точно праздник под вечер: все сидят кучками; одни хлебают щи, другие едят колодку судака, третьи хлебают вареное прокислое молоко. Перед каждым лежит коврига хлеба. Пьяные спят. На барки возвращаются тоже пьяные. Из города слышны бурлацкие песни. Наевшись, бурлаки начинают петь, играть на инструментах и пляшут. На одной караванке кто-то играет на скрипке, на другой кто-то играет на гитаре, визжит женщина, звенит посуда.

Был тихий, прекрасный вечер.

Губернская публика, человек до двухсот, ходит взад и вперед по маленькой набережной, называемой загоном. Любуется ли она бурлаками, бог весть. Для нее играет музыка на возвышении посреди площади. Далеко разносится эта музыка, заключающая в себе польки. Музыканты играют скверно, но все-таки около загородки стоят бурлаки и боятся войти в загон, слушают они музыку: хорошо и весело играют, долго бы слушал, да непонятно что-то. Постоит бурлак, заноет у него сердце, и пойдет он невеселый на барку. А там поют родные песни, выигрывают родные же песни, пляшут,— все как-то лучше, отраднее...

— Баско играют, да не по нам,— рассуждают бурлаки.

— И люди-то там какие!.. Сморчи... чучелы...

— Эх, бат, сыграй веселую... Вот тут болит!— говорит один бурлак, указывая на грудь или на сердце.

— Што там! У них свое, у нас свое. Им так-то не спеть. Затягивай! Знай наших!— кричит какой-нибудь пьяный лоцман.

И выпеваются бурлацкие песни, грустные, заунывные, и далеко-далеко и долго разносятся эти песни. А поют-то как они; сидит бурлак, подопрет щеки руками, задумается

точно, в глазах жизнь видится, на лице горе, и смотрит в воду... Слушаешь эти песни, все бы слушал их, а слов разобрать не можно, только и слышится какой-то стон протяжный.

В прежние годы, когда не плавали еще пароходы по Каме до Перми, Кама была запружена до половины барками, и тогда город наполнялся бурлаками. Теперь только десятая часть прежнего: пароходы с каждым годом все более и более сокращают число бурлаков. Что будет с этими людьми, когда им негде будет бурлачить?

Есть люди, которые называют бурлаков самыми последними, бросовыми людьми. Есть даже и такие, которые называют их негодяями, вредными. Но они ошибаются: бурлаки только люди необразованные, грубые, самые бедные люди. Ведь у бурлаков только и есть богатства, что на нем надето да что он съедает... и для этого он трудится больше, нежели другой. А терпенье переносить зной, холод, дождь?.. «Надо же кому-нибудь быть бурлаком...» — обыкновенно говорят люди, насмехающиеся над бурлаками и не понимающие бурлацкой жизни.

В Перми барки простояли еще три дня. В последний день бурлаки с утра скучали: делать нечего, а хочется делать; сходит бурлак на рынок — денег нет, лоцманы не дают, говорят: приказчики не дают; просто задор берет. Есть же такие богачи, что у них и хлеба-то множество и всякой всячины пропасть! Походит, походит бурлак по рынку и по городу, погорюет, что напрасно он пропил деньги, и идет на барку.

Подлиповцам хорошо казалось жить на барках. Хотя и бывает работа, зато не всегда, а хлеб-то у них всегда есть, даже еще много. Жалко, нет Матрены!.. Ну, Апроська померла, куда с ней, больной. Здесь и без баб хорошо: татары да зыряне смешат; и городские смешат, говорят както инако да над ними смеются.

Подлиповцы узнали здесь больше, нежели они знали в деревне и в Чердыни: они узнали, что миру божьему нет конца, что деревни их дрянь, люди совсем другие, чем они, что им уж не быть такими, какие ходят в городе в богатой одежде. Им хотелось еще побывать дальше и приискать себе такое место, где бы было хлеба много и можно бы было спать подольше.

XI

Между тем барки постоянно приплывали и, выправивши билеты и заплативши положенный с них сбор, плыли вниз. Когда отправились караванки, то с них палили из пушек.

В воскресенье назначено было плыть лоцману Терентьичу. Пила с Сысойком и ребятами отпросились у лоцмана купить хлеба. Лоцман отпустил на полчаса. Звонили к обедне. Пила и Сысойко несколько раз проходили мимо собора и заглядывались на него. Идя теперь мимо его и увидав, что в ограду идет много людей, в том числе и бурлаки, подлиповцы вошли в собор. Ребята пробрались в народ, на самую середину, а Пила с Сысойком стоят у дверей. Видят они, посреди церкви одевают кого-то и надевают-то на него все хорошее... Нигде таких одежд они не видали. Нигде не слыхали такого хорошего пения... Никогда не видали такой хорошей церкви... И расписано-то как! Певчие пропели очень громко... Сердце дрогнуло у Пилы. Настала тишина. Пила не утерпел.

— Баско! Ай, баско!!— сказал он.

— Ишь ты. А!— проговорил Сысойко.

Их вывели на улицу казаки.

Они долго терлись на крыльце; заглядывали в стекла, видели только архиерея да много людей; хотели пробраться в церковь, но их не пустили.

— Эко ты диво! Что же это?— удивляется Пила, отходя прочь от церкви.

— Я баял, не надо идти.

— Уж нам где! А ты, Сысойко, поди, скличь ребят-то, а то без них барки не пойдут.

— Сам скличь.

— Поди, право. Боюсь.

Они пошли к воротам. Им попался офицер. Они сняли шапки. Офицер прошел.

— Поштенный! а поштенный!— окликнул офицера Пила.

— Что вам?— спросил тот.

— Кликни там Пашку да Ваньку, тятька, мол, зовет, плыть тожно надо.

— Ступайте сами.

— Да не пушшают.— Офицер ушел. Пила и Сысойко постояли несколько времени, попросили еще кого-то послать к ним ребят, да тот и не ответил даже им. Они пошли на рынок.

— Эко дело... Как таперь без ребят-то?— говорит Сысойко.

— Ты говори!..

— Ходить бы не надо.

— Ты вот то говори: они, поди, богачество там получат.

— Эк ты!

— А получат. Ишь, как там баско... Вдруг бог-от и даст им богачество. Эвот сколько! Эво! — говорит Пила, указывая рукой на большой дом.

— Пожалуй. Толды мы вместе станем жить?

— А не то, так и Матрену скличем.

— Апроську бы надо...

Пиле грустно сделалось. Теперь ему казалось, что у него и родных вовсе нет, кроме Сысойки, а ребята так и пропали. Жалко!

На рынке они купили по три ковриги хлеба и печенку. Сысойко нес хлеб. Пила печенку. Они опять подошли к архиерейской ограде.

— Пойдем туда,— говорил Сысойко.

— И! Гли, туда какие все идут.

— А вон бурлаки.

— Нас не пустят, ошшо в острог засадят.

Однако они вошли в ограду, взошли на крыльцо и хотели войти в церковь. Их опять прогнали... Они пошли на барки.

— Может, они уже там, откачивают...

Их барка отваливала.

— Шевелись! черти!..— кричал на них лоцман.

Барка уже плыла. Пилу, Сысойку и еще трех бурлаков посадили на шитик.

— А ребята здесь?— спросил Пила лоцмана на барке.

— Ждать мне твоих ребят!

— Врешь?

— А ты пошто их бросил?

— Да они в церкви остались, не нашли... Эка беда!

— Поди, глазеют там впервые-то!

— Как же теперь?

— А так... На другу барку, может, пустят, только едва ли пустят без билета.

— Не здесь ли они, Сысойко? погляди,— спросил немного погодя Пила.

— Может.

Пила сходил на барку. В барке отливали воду два бурлака. Пиле и Сысойке еще скучнее сделалось.— Эко горе! Как же теперь без ребят-то! Помрут они там.

А барка между тем плыла да плыла. Города уже не видно.

XII

До Елабуги плыли полторы недели. В это время они на сутки останавливались для починки барок и для закупки провизии в городах Осе и Сарапуле. О житье бурлаков в это время сказать нечего: оно было такое же, как и на Чусовой и в Перми, с тою только разницей, что работы было меньше, чем на Чусовой. Бурлаки уже привыкли к бурлацкой жизни, мало сетовали на свою судьбу; не удивлялись, как прежде, над пароходами, попадавшими им навстречу и обгонявшими их раза по четыре в сутки; не удивлялись над величиною баржи: им теперь все пригляделось, надоело.

С потерею детей Пила сделался очень скучен и еще более привязался к Сысойке.

— Нету у меня теперь ребят, только ты один,— говорил он Сысойке ночью, лежа с ним в барке.

— Идти бы назад в церковь.

— Што делать! Уж ты не отставай от меня.

— Ты только не брось.

— Я не брошу. Што мне одному-то? Вон наши подлиповочи,— што им,— своих приятелев завели.

Елка и Морошка работали на носу и редко говорили с Пилой и с Сысойком. Им почему-то не нравились Пила и Сысойко, и они даже наговаривали об них бурлакам, что они колдуны, в остроге сидели и прочее.

Каждый раз, когда нечего было делать, Пила и Сысойко садились куда-нибудь, вдалеке от прочих бурлаков, смотрели друг на друга и жалели друг друга.

— Плохо, Сысойко! Аяй плохо... Так вот и болит *нутро*; уж болит!

— Как болит!.. Помереть бы...

— Сысойко, зачем ты не баба?..

— А пошто?..

— Да так. Все бы оно лучше.

— А мы подем назад?

— Да надо ребят найти. Как найдем, и подем сюда.

Половина барок поплыла из Елабуги к устью Волги и в Саратов. Подлиповцев и прочих бурлаков заставили выгружать железо на берег, а потом нагружать в баржи. По окончании нагрузки Пила и Сысойко получили по четыре рубля денег, а прочие больше и меньше, смотря по тому, кто сколько забрал раньше вперед. Несколько бурлаков поступили на баржи, тысяча человек пошла в Вятскую губернию, кто по реке Вятке, впадающей в Каму недалеко от Елабуги, кто проселочными дорогами. Человек двести нанялись вести суда до Осы, Перми, Усолья и Чердыни. Груз был большею частию с хлебом. Пила и Сысойко нанялись с прочими подлиповцами до Усолья по шести рублей и получили задатку по полтора целковых.

XIII

Работа для подлиповцев теперь была еще тяжелее. Судно дожидалось попутного ветра. Ветер подул. Подняли паруса с песнями: «Ухнем! ухнем! разом да раз!!!» Ветер натянул паруса и потянул судно. Подлиповцы удивлялись первый день, как это их тянет ветер. Прошли они так верст десять, судно вошло в такое место, где ветер не мог тащить судно. Судно подплыло к берегу посредством гребли и стало на якорь.

— Бери бичеву!— сказали лоцмана. Бурлаки, в том числе и подлиповцы, положили в лодку бичеву — веревку, привязанную за верхушку и середину мачты, с кожаными петлями или лямками, и приплыли на берег.

— Бери бичеву!..

Бурлаки надели на груди лямки. Всех их было пятнадцать, на судне было десять бурлаков.

— Трогайся с богом! трогайся! Што стали?

Бурлаки тронулись, пошли и стали: веревка точно за гору была привязана.

— Што стали! Шевелись, натягивай! — кричат мужики с судна.

Бурлаки потянули бичеву — и все ни с места.

«Ухнем, ухнем! да раз!..» Они натянулись вперед всей силой, их подало вперед.

«Ухнем, ухнем, да раз!.. дерни, подернем, да раз!..» И они уже шли, нагнувши спины, опустивши голову вниз, руки болтаются, ноги переступают едва-едва... «Дернем-подернем, да раз!» И они идут, не увеличивая скорости шага; на плечах их точно что-то тяжелое лежит, такое тяжелое, что ужасти... Идут они так час, груди у них болят, ноги устали; с них каплет пот, большие шапки их закрывают глаза... Идут они тихо и покачиваются из стороны в сторону.

Идут они сегодня по песку — солнышко их жжет; на другой день идут болотистым берегом — ноги вязнут; выбились из сил, а лоцман то и дело кричит:

— Што стали, пошли живо!

На третий день идет дождь, гремит гром, сверкает молния, а они идут и тянут богачество... Вот судно встало на мель. Пошли они к судну по колено в воде, вошли на судно и сталкивают его шестами с мели — и опять их пробирает пот, солнышко или дождь. Вон стоят суда с высокими мачтами.

— Стой! — кричит лоцман.

Они хотят встать, их пятит назад.

— Брось бичеву!

Они снимают лямки и бросают. Бичева подбирается на судно. Много ловкости нужно иметь лоцману, чтобы провести судно к верху. Много труда для бурлаков, нанявшихся вести судно на своих плечах!..

Как трудно подымается судно кверху, это видно из того, что наши подлиповцы пришли из Елабуги в Пермь через месяц, потому что они большею частию тащили его, а ветер дул редко.

Пила и Сысойко везде спрашивали про Павла и Ивана, но никто не знал об них. В Перми они не шли бичевой. а сначала стояли против речки Данилихи, потом, когда подул ветер снизу, их протянуло до речки Егошихи, и здесь они простояли два дня, в которые выправили билеты. Пила справлялся на трех баржах и ничего не узнал об детях.

— Померли!— решил он.— Ну, хоть не мучатся. А то што им жить-то... А вот на нас так нету смерти.

— И мы, поди, не помрем?— спросил на это Сысойко.

— Как не помрем — все помирают. А все бы теперь лучше...

— А ты живи: я-то как без тебя?

— Ну, и ты помри.

— Утонуть?

— Ступай на Чусову, хлобыснись.

— Боюсь...

— Вот мы таперь муку́ прем, а небось ее не дадут нам, а дают когда гривну, когда полтину.

— Знамо, они богатые.

— Вот, бают, и в Чердынь муку плавят, а пошто она там дорога?

— А по то; кто плавит-то,— богат. Вот те и богачество!

— Уж именно! Как преж жили, так и таперь придем без всего, да ошшо ребят нет.

— Што делать!.. Вот те и бурлачество!

— Трудно. Оно и баско там, да што? А мы, Сысойко, не подем уж в Перму, лучше соль будем делать: ишь, как там тепло, и денег, бают, больше дадут.

— И то ладно. Только на чучелу бы попасть, што с колесами бегат.

— Попробуй — попади! Прогонят. Везде гнали, и из Перми прогонят. Народ там, бают, злой...

— Все бы поплавать...

— Черт ты экой! Ты погляди, што у те на груди-то? У меня, смотри, кожа слезла... А спина-то? Самого так и пошатыват,— хоть помереть тожно... Сысойко! Пошто мы родились-то?.. Вон лошадям так славная жизнь-то...

— Ну их!.. А мы соль будем делать.

Через день Пила и Сысойко ведут такой разговор:

— Ошшо бы так-ту поплавать, как по Чусовой плыли... Людей сколь, барок!.. города разные... И хлеб там был...— говорит Сысойко.

— Так оно. А таперь и люди-то побегли, бают, домой.

— А нам куды?.. што нам в деревне-то?..

— Там, Сысойко, бают, города баские есть. Бают, Перма супротив их пигалица... Походим ошшо тамока?

— Подем.

— Бают, город есть такой: дома все каменные, а вышина-то... в Перми нет таких домов. Там, бают, царь живет.

— И туды подем... А денег дают?

— Бают, баско там.

— А мы и таперь подем!

— Куды таперь подешь? Я чуть иду, так бы вот и лежал. А мы полежим в Усолье и подем...

Через день опять другое:

— Гли, Пила, траву косят!.. Што бы нам землю дали,— уж и бурлачить бы не пошли.

— Э! людям счастье, а нам где уж! Вон, бают, много есть бросовой земли, а не дают — богатые люди продают, да дорого... Здесь ошшо што: все лес да лес, а вон ниже Пермы видали мы, какие земли-то; бают, хлеба много.

— Пожить бы там... Гли, плот плывет!

— Пусь плывет. Ты вот то суди: люди-то на нем такие же, как и мы. А ты погляди, как рыбу ташшат неводом. Вот дак ремесло. Лучше этова ремесла ничего нет.

— И легко!

— Поймал и съел, и продать можно.

— Подем рыбачить.

— Подем... Поспим и подем.

— Слышь, Сысойко, какой я сон видел... Ходили мы в Перми, дома все инакие, огромнеющие — ужасти! Церквей сколь!.. Хлеба так и пакладена целая гора... Набрали мы много хлеба... Идем-идем, да и очутились в реке, и хлеба нет,— невод тащим... Вытащили — ничего нет; ошшо пошли, много достали рыбы... Столь много, што ужасти... Потом мы в варнице очутились... Печь большая-пребольшая; все дрова кидают и мы кидам... Только кидам-кидам так-ту дрова, и вижу я в печке-то Апроську... Кричит она: «Тятька, вытащи! тятька, вытащи!..» Ужасти... Стою я и не смею в печку водти, а только тебя жгет-жгет, и сам будто ты в полыме стал. Кричу я эдак, а меня в печку толкают... Вот дак сон.

— Беда!

— А как худо жить!.. Ходили мы, ходили с тобой, а што выходили? Смотри, лапти-то у нас куды гожи?.. а гунька-то, гунька-то!..

— Ну и жизнь!

— Походим ошшо; может, лучше будет.

— Кто ево знат. Ты считай, сколь бед-то.

— А поп баял, как помрешь, бает, на том свете лучше будет,— баско... Значит, и дом будет, и лошадь, и корова...

После этого разговора оба друга весь день ничего не говорили.

Предоставляю читателю самому судить о положении Пилы и Сысойки. А таких бурлаков очень много. Пила говорил правду, что ему бы родиться не следовало: родился зачем-то человек; в детстве терпел горе, вся жизнь его горе-горькая, уж как ни пробовал выбиться из нищеты, нет-таки — стой! Куда лезешь, лапотник?..

XIV

До Усолья осталось верст тридцать. Полдень. Идет дождь и немилосердно мочит бурлацкие полушубки. Идут бурлаки часа четыре то по колена в воде, то по болотистому берегу, то перескакивают через ручейки, переходят ложки́. Все устали, измучились, как загнанные лошади, у всех пересохло горло. Все молчат уже с час.

Пила идет впереди. Сысойко рядом. Елка и Морошка позади их. Пила и Сысойко страшно исхудали и походят на мертвецов. Они целую неделю пролежали в судне, теперь немного поправились, и, хотя едва-едва переступают ногами, хотя у них кружатся головы, лоцман заставил-таки их тащить судно. Две недели не пели бурлаки песен, говорили мало. А это худой признак. Водку пили только в Перми.

Идут бурлаки по отлогому берегу около плетня, которым огорожен чей-то покос с лесом: ноги скользят, запинаются за пни; все они покачиваются из стороны в сторону, свесивши головы, опустивши руки. Один только бурлак, молодой парень, то и дело тараторит, издевается над вятскими мужиками.

— Пошли, значит, вячки утку стрелять, а никто и не умеет стрельнуть. Штука, значит, забористая...

— Ты уж баял. Лонись баял, давече баял...

— Толды не все; таперь как есть скажу.

— Ну бай.

— Ну и пошли, значит, стрелять семь мужиков одну утку, а ружье у них у всех одно, да и то забарабали у богатого хресьянина... Ладно. Увидели утку и закричали: «Лови ее, халяву!» Побегли, она и спряталась. Потом выбегла и сидит на озере... Вот они и стали ружье затыкать порохом; один положил горсть, другой бает: погоди, я положу! моя, бает, копеичка не щербовата... Третий тоже бает: моя копеичка не щербовата и пехает горстоцку пороху... И все так бают и пехают горстоцку пороху... Ну и положили все по горстоцке пороха, затыкали семью тряпками... Ну, вот один бает: я стрельну, другой тоже хочет стрельнуть — и расцапались, а потом и обхватили все ружье разом... Ружье как бзданет их всех,— кому руку ушибло, кому лицо — беда! а один, как стоял, так и упал — покойник сделался. А они бают: «Скрадыват! скрадыват!» — и полегли с ним головами врозь... Так и лежат, а встать не смеют... Только едет мужик и видит их... Едва-едва сдогадались, што один мужик помер. Ну, их сцапали опосля, приволокли к начальству.

Бурлаки даже не улыбнулись и молча слушали рассказ. Они уже в четвертый раз на этом дню слышали этот рассказ. Молодой бурлак обиделся, зачем бурлаки не смеются, и начал другой рассказ, как вячки онучи сушили...

Судно пошло на мель. На нем шесть бурлаков работали шестами.

Бичевники стали.

— Трогай сильней, трогай! што стали?— понукал бичевников лоцман с судна.

Бичевники натянули бичеву, наперлись, закричали: «Дернем-подернем, да раз! ухнем да ухнем! да раз!..» Судно стоит на одном месте.

— Пошло, родимые, пошло! Прибавь силушки! Вот у речки отдохнем...— понукает лоцман.

Бичевники наперлись пуще прежнего, запели; судно

подвинулось, они пошли, но шли так трудно, словно невесть что тащили... Идут они, ни о чем не думая, а только далеко-далеко раздается их песня: «Ухнем! ухнем разом да раз!.. ха! дернем-подернем да раз!..»

Вдруг бичева лопнула, все бурлаки упали... Кто ударился головой о плетень, кто коленкой о камень, кто расшиб нос и губы, кто свалился к воде, кто упал на товарища...

Восьмеро встали. У одного окровавлено лицо, другой жалуется, что бок ушиб, третий кажет руку, двое кричат: «Ой, брюхо болит! оёченьки!»

Пила и Сысойко лежат без чувств в разных сторонах, облитые кровью. Бурлаки окружили их и стали смотреть. Пила разбил лоб, переломил левую ногу... Сысойко разбил грудь...

Все запечалились.

— Померли!.. Родимые...

— Эх-ма! Вот те и жизнь!.. Ох-хо-хо!— И бурлаки утирают черными жесткими ладонями глаза...

Пилу и Сысойку накрыли полушубками и отошли прочь.

Приплыл на берег один лоцман с бурлаками. Все погоревали, долго судили: что делать с Пилой и Сысойком — и решили свезти в деревню. Пилу и Сысойку положили на рогожи, завернули рогожами, приплавили в шитике на судно и там положили на палубе. Бурлаки не отходили от них, обмыли водой обоих и положили так, как мертвецов. Сысойко пришел в чувство, застонал, взглянул в левую сторону, где лежал Пила... Лицо Пилы было страшно.

— Пила!— простонал Сысойко.

— Дай водицы ему,— сказал лоцман одному бурлаку. Бурлаки почерпнули в ведро воды и влили в рот Сысойке воду. То же сделали и с Пилой.

Пила пошевелился, но не издал звука.

Сысойко смотрит на Пилу дико.

— Пила!— опять стонет он.

Пила издал глухой стон.

— Больно?— спрашивали Сысойку бурлаки.

Сысойко смотрит на всех дико, стонет... Вот он повернулся на бок и смотрит на Пилу. Пила открыл глаза, пошевелил губами и ничего не сказал... Потом он протянул к Сысойке руку и умер...

— Помер!

— Добрый был, добрый...

— И мы так помрем...— рассуждают бурлаки, чуть не плача.

— Тятька!— стонет Сысойко.

— И он помрет...

— Сысоюшко! поживи ошшо чуточку!..— говорят Сысойке бурлаки.

Лоцман никак не мог заставить бурлаков тянуть судно.

— Не трог!— говорят.— И мы помрем.

— Братцы, спехнем хоть судно-то. Смотрите, ветер!

— Нет, братан... Гляди!

Лоцман привык уже к подобным сценам и перевез Пилу и Сысойку в деревню, находившуюся недалеко.

Пилу схоронили бурлаки. Не одна слеза упала на Пилу. Холодные были эти слезы, слезы бурлацкие...

Сысойку оставили в деревне, и судно кое-как сдвинули с мели. Оставили Сысойку в деревне без бурлаков у одного крестьянина, и через четыре дня после отплытия судна он умер...

Родился человек для горе-горькой жизни, весь век тащил на себе это горе, оно и сразило его. Вся жизнь его была в том, что он старался найти себе что-то лучшее...

Вот каково бурлачество и каковы люди бурлаки.

Елка и Морошка благополучно добрались до Усолья и там поступили на варницы. От работников они узнали, что жена Пилы Матрена за воровство попала в острог, а Тюнька воспитывается какою-то нищею. Эта нищая каждый день бьет его, берет с собой, заставляет говорить: «Подайте, ради Христа!», пропивает насобиранный хлеб и деньги и часто оставляет его без хлеба.

Положение этого ребенка очень незавидно. Ведь и он вырастет, и каким он будет человеком?..

XV

Что сделалось с Павлом и Иваном? Они не нахвалятся своею судьбой; жизнь им кажется хорошая. У них заведен сундучок, в котором хранятся сапоги, зеркальце, чай, сахар, две ситцевые рубашки, два тиковых синего цвета халата. Они летом кочегарами на пароходе, а зимой работают на пристани. Летом они бывали в Нижнем, в Саратове, в Астрахани, едали яблоки и арбузы, очень развились и даже умеют читать.

Пила оставил их в Перми в соборе. Там они стояли около архиерейского места (престола, по-церковному) и глядели, как одевали архиерея. Когда они услыхали слово *баско!* то думали, что это так и должно быть, и не обратили внимания на волнение в народе, когда выводили из собора Пилу и Сысойку, потому что они в это время смотрели на архиерея, на духовенство, на певчих и на живопись. Их все удивляло. Когда был великий выход, Павел сказал Ивану:

— А тятьки нет!

— Он, поди, смотрит.— И простояли всю обедню. Они бы, пожалуй, два дня простояли, если бы два дня шла

архиерейская служба. Когда стал выходить народ из церкви, они спохватились, что нет отца, забегали на дворе, везде выглядывали его, ушли опять в церковь, там уже не было людей. Они зашли и на хоры, и там нет, пошли в алтарь, но оттуда их прогнал староста. Погоревав на улице об отце, они пошли на рынок, походили там часа с три, насобирали Христа ради милостинки, наелись, спросили бурлаков об отце, ничего не узнали и пошли глядеть на народ.

— Где же тятька-то?— говорил Павел.

— Кто ево знает.

— Он, поди, уплыл?

— Без нас не уплывет.

— А мы как?

— Мы здесь останемся... Ишь, баско!

— Все тятьки жалко...

По городу они ходили с час и зашли на бульвар. На бульваре начала собираться губернская публика. Они выспались в канаве, и когда пробудились, то бульвар уже был полон народа; играл военный оркестр; в шалаше играли фокусники. Ребята все высмотрели, всему дивились: их очень забавляли офицеры, наряд людской, гимнастические упражнения, качели, танцы в зале.

— Баско!

— У нас нету так-то.

— И на барках инако.

— Вот так город!

— А мы уж здесь останемся...

— А как протурят?

— Смотри, бурлаков сколь. Где же тятька-то?

— Он, поди, смотрит: ишь, сколь людей-то! Ишь, што диется! — говорят ребята, указывая на круглую качель.

Ночью они уснули на бульваре. Утром на бульваре никого не было, и ребята заплакали с горя.

В городе им попались бурлаки.

— Видели тятьку?— спросил их Павел.

— А вы бурлаки?

— Бурлаки.

— Откедова?

— Чердынские.

— А откелева с баркам-то идете?

— А завод Шайтанский есть, оттоль и плывем. А тятьку-то Пилой зовут, да ошшо Сысойко с ним.

— Не знам мы твово Пилы, и Сысойку не знам.

— Шайтански отвалили уж.

Ребята запечалились и пошли с бурлаками на рынок. Они заплакали. Куда идти? где жить?

Пошли они сбирать милостинку. Два дня собирали милостинку, исходили весь город, а ночами спали у соляных амбаров. Потом они наткнулись на одну пристань, увидели, как и что работают люди, сами стали работать и получили за работу по двадцать копеек серебром за сутки. Целую неделю они спали под лодками, а потом над ними сжалился один водолив, узнавший от них о потере отца, и пустил спать в барже. По совету этого водолива, ребята и поступили на пароход с жалованьем по шесть рублей в месяц.

Житье на пароходе ребятам кажется хорошим. Когда идет пароход, они постоянно бросают в печь дрова и в это время ходят черные, как трубочисты, и только изредка любуются людьми. Они узнали, что такое пароход, и знают каждый уголок в пароходе, каждую вещь, для чего она тут хранится или приделана. Товарищи любят их, в особенности любит их подручный повара и часто дает им то кусочек пирога, то кусочек жаркого или иных каких сластей понемногу, а главное, в свободное время, когда пароход стоял,

учит их читать. В это свободное время Павел и Иван купались в реке, смывали с себя сажу, надевали чистенькие рубашки и ходили по городу, или спали, или починивали свою одежду. Зимою они отскребают снег, метут, колют дрова, носят воду и дрова то смотрителю пристани, то служащим на пристани, и часто исправляют должность кучеров.

Они часто вспоминают про отца и Сысойку. Сидят они у печки пароходной, покуривая трубки, и горюют:

— Жаль, Пашка, что отца нет. Все бы вместе лучше.

— Куда же он пропал? Вот и Сысойка нет.

— Уж Сысойка от отца не отстанет. Они, поди, все бурлачат.

— Да теперь уж поздно бурлачить: вон, суда плывут к верху. Я, знаешь, ходил на палубу, а бурлаки судно тянут. Жалко мне стало.

— Поди, отец так же тянет.

— А мы как увидим где отца да Сысойка, дадим им денег и звать будем с нами жить.

— Ладно.

Обедают они и говорят:

— Жалко, Ванька, что отца нет! Поел бы он с нами. Ведь он никогда так не ел.

— Жив ли он, Пашка?

— Не потонул ли с баркой?

Оденутся они прилично и говорят:

— Как посмотрел бы на нас отец да Сысойко, удивились бы... Ишь, какие мы!

— А мы, как накопим денег, полушубки хорошие купим, а то дали нам какие-то большие да старые.

— Они, поди, теперь и не узнают нас.

— Я бы, знаешь, как стал бы жить с нами отец с матерью да с Сысойком, про людей бы да про города разные стал им рассказывать, а не то и читать им станем.

— Не поверят.

— Нам бы поверили: ты рассуди, ведь они родные нам. А вот скажи другой им, и не поймут.

— Пошто же они такие?

— А бог их знает. Так уж, верно, бог устроил. Один богато живет, а другой бедно, и живут-то везде по-своему. Один сыт, а другой кору ест.

— А пошто же не все богаты?

— Ну уж, и не говори больше... Ты говори спасибо, что и так-ту живем...

1864, 1867



СЛОВАРЬ МАЛОУПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

Баско — хорошо, красиво.

Бичевники — бурлаки, которые тянут судно бичевой.

Богародни — нищие, калеки.

Бурак — кузовок, коробок.

Варнак — каторжный.

Варницы — солеварни.

Ватаракша — негодный.

Витень — кнут, плеть.

Гомзуля — ломоть, ломтище.

Гунька — ветхий полушубок или армяк, крытый простым холстом.

Забарабали — захватили.

Закал — сырое, непропеченное место в хлебе.

Зарод — большой стог сена.

Злочесть — несчастье.

Изгребный холст — вытканный из оческов, изгребей.

Коломенка — баржа, поднимавшая от семи до двенадцати тысяч пудов.

Коты́ — здесь: берестяные лапти.

Лиже — гляди же.

Лонись, олонись — в прошлом году.

Мастюжить — мастерить.

Махальнича — кадило.

Наберухи — кадки.

Осердие — ливер: легкие, сердце, печенка.

Охабачивать — жадно есть, уписывать.

Очеп — здесь: цеп.

Пеун — здесь: дьячок.

Поблазнило — почудилось, померещилось.

Поно́сное весло — большое весло на конце барки, служащее рулем.

Посдевать — надевать одно на другое.

Раменье — глухой лес.

Стайка — здесь: хлев, сарай для скота.

Тожно — также.

Цитальница — молитвенник.

Чижовка (кутузка) — арестантская при полиции.

Шитик — лодка с нашитыми бортами.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Решетников Ф. М.

Р47 Подлиповцы. Этнографический очерк (из жизни бурлаков) в двух частях. М., «Сов. Россия», 1977.

192 с.

В богатой первоклассными именами русской демократической прозе XIX века творчество Федора Решетникова — явление самобытное и сильное. Появление его повести «Подлиповцы» справедливо рассматривалось современниками как приход в русскую литературу писателя-разночинца со своим новым героем.

Реалистическое изображение народной нужды, темноты, бедности сочетается в повести Ф. Решетникова, которую автор недаром посвятил Некрасову, с выявлением духа, протеста, зарождающегося у героев стремления к справедливости, к лучшей жизни.

$Р\frac{70301-136}{М105(03)-77}94-77$ **Р2**

Федор Михайлович Решетников

ПОДЛИПОВЦЫ

Редактор **Т. М. Мугуев**
Художественный редактор **Э. А. Розен**
Технический редактор **Л. С. Мезенцева**
Корректор **М. Е. Барабанова**

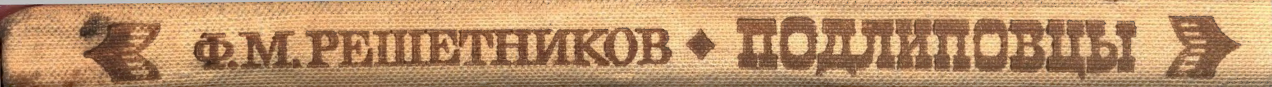
ИБ № 501
Сд. в наб. 23/VII-76 г. Подп. к печ. 26/I-77 г. Форм. бум. 70×108 1/32. Физ. п. л. 6,0+1 вкл. Усл. печ. л. 8.49. Уч. изд. л. 8,13. Изд. инд. ЛХ-52. Тираж 100.000 экз. Цена 77 коп. Бум. № 1 типогр.

Издательство «Советская Россия». Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25. Заказ 1356.

77 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»


Ф.М.РЕШЕТНИКОВ ◆ ПОДЛИПОВЦЫ